

Савва (Тихомиров)

Хроника моей жизни

«Издательство Сретенского Монастыря»

УДК 271.22(091)+928Савва
ББК 86.372.24-3

(Тихомиров) С.

Хроника моей жизни / С. (Тихомиров) — «Издательство
Сретенского Монастыря»,

ISBN 978-5-7533-1283-9

Автор книги — архиепископ Тверской и Кашинский Савва (Тихомиров; 1819–1896), известный церковный археолог, доктор церковной истории, писатель. Его ученые труды, принесшие великую пользу Церкви и Отечеству, отличались основательностью исследования, обилием исторических сведений, твердостью мысли и убеждения. В своей книге «Хроника моей жизни» архиепископ Савва отразил историю большей половины XIX века, время великих реформ и преобразований во всех сферах государственной, а в значительной мере и в церковной жизни России. Издание приурочено к 120-летию со дня блаженной кончины архиепископа Саввы, выдающегося иерарха Русской Православной Церкви. Книга издается в сокращении.

УДК 271.22(091)+928Савва

ББК 86.372.24-3

ISBN 978-5-7533-1283-9

© (Тихомиров) С.
© Издательство Сретенского
Монастыря

Содержание

«Польза и слава Православной Церкви, честь и благо паствы»	7
Детство. Годы учебы в Шуйском духовном училище и Владимирской духовной семинарии	14
1819 год	14
1822 год	17
1825 год	18
1826 год	19
1827 год	20
1828 год	27
1829 год	31
1830 год	32
1831 год	34
1832 год	37
1833 год	38
1834 год	39
1835 год	42
1836 год	44
1837 год	47
1838 год	48
1839 год	49
1840 год	50
1841 год	54
1842 год	58
Конец ознакомительного фрагмента.	61

Архиепископ Савва (Тихомиров)

Хроника моей жизни

*Посвящается 120-летию со дня блаженной кончины архиепископа
Тверского и Кашинского Саввы (Тихомирова)*

Рекомендовано к публикации Издательским советом Русской Православной Церкви
ИС Р16-616-0602



Handwritten signature of Archbishop Savva (Tikhomirov) in cursive script.

На фронтисписе:
архиепископ Савва (Тихомиров)



© Сретенский монастырь, 2016

«Полезьа и слава Православной Церкви, честь и благо паствы»

Архиепископ Савва начал свое церковное и общественное служение во времена подготовки великих реформ и преобразований во всех сферах государственной, а в значительной мере и церковной жизни России.

Родился будущий архипастырь 15 марта 1819 года в селе Палехе Вязниковского уезда Владимирской губернии в семье пономаря Крестовоздвиженской церкви Михаила Сергеевича и Стефаниды Ивановны. В январе 1819 года, возвращаясь из села Горицы, Михаил Сергеевич сильно простудился. 25 января он скончался в возрасте 35 лет. Все заботы о появившемся на свет долгожданном сыне легли на плечи матери. Во святом крещении младенца нарекли Иоанном, во имя преподобного Иоанна Лествичника. Овдовев, мать вынуждена была переселиться на свою родину, в село Горицы Шуйского уезда, где жили ее родственники, в том числе родной брат, диакон.

С первых дней жизни колыбель маленького Иоанна окружала крайняя бедность. Своей коровы у них с матерью не было, и добрая сострадательная крестьянка Феодора Михайловна Чайкина подкармливала младенца молоком. О помощи этой простой женщины владыка Савва никогда не забывал.

«Когда, бывало, служит кто-либо в церкви молебен или панихиду, после вознаграждения причту давали и нам с пономаревым сыном особо по грошу, а иногда и по пятаку. Но раз служил молебен проезжавший из Мурома стряпчий; он пожаловал мне серебряную монету, кажется, пятиалтынный; это привело меня в крайнее изумление и восторг. И все получаемые мною таким образом лепты я спешил отдать своей матушке», – писал в своей автобиографии владыка Савва.

Пролетело детство, наступила пора обучения. Восемилетний Иоанн с матушкой отправились в город Шую для поступления в приходское духовное училище.

«Во второй половине июля 1827 года матушка повела меня пешком в Шую. День был жаркий; отойдя несколько верст, я стал уставать; к счастью, догнал нас по дороге знакомый матушке крестьянин, ехавший тоже в Шую. Матушка упросила его посадить меня на телегу и подвезти. Добрый крестьянин, спасибо, не отказал, посадил меня в телегу. Но тут оказалась другая беда: пока лошадь шла шагом, матушка не очень далеко отставала от нас, но как скоро лошадь начинала бежать рысью и матушка скрывалась от моих глаз, я, опасаясь как за себя, так и за нее, начинал плакать. Наконец мы приехали в Шую».

В училище Иоанн получил фамилию своего двоюродного брата – Тихомиров, так как отец его не имел собственной фамилии, что в те времена в среде духовенства встречалось нередко. В Шую маленький Иоанн вынужден был жить у чужих людей на квартире. Хозяйка квартиры была набожная добрая женщина, ночи напролет усердно молилась, а в воскресенье и праздничные дни с первым ударом колокола вставала и будила всех, никому не позволяя оставаться дома, всех непременно отправляя в церковь.

Обладая незаурядными способностями и особым прилежанием, Иоанн благополучно прошел училищный курс.

Одиннадцати лет он стал круглым сиротой, потеряв 14 марта 1830 года самого дорогого и близкого человека – свою матушку, умершую от простуды. Господь не оставил сироты: руководство училища, как примерному ученику, назначило ему казенное содержание по 60 рублей в месяц. Каникулы он проводил у родных и, чтобы не быть им в тягость, помогал как мог. «В Горицах помогал двоюродным сестрам, занимавшимся тканьем простой пестряди, на Пустынке разделял с зятем их земледельческие труды: жал хлеб, возил с поля снопы, молотил».

Вскоре Иоанн Тихомиров, как лучший ученик училища, был определен на учебу во Владимирскую духовную семинарию. Жить пришлось в бурсе и в такой ужасной бедности, что вместо суконного сюртука он имел только нанковый, который носил как в будничные, так и в праздничные дни. К родным на каникулы добирался пешком.

«Однажды, – писал владыка Савва, – хотелось мне побывать на празднике Пасхи у зятя и сестры, я с некоторыми товарищами пошел пешком. Пасха была ранняя, 26 марта. В полях было множество снега, который начал уже таять по дороге; в долинах, между гор, образовались почти целые реки, обойти их было невозможно, и мы должны были идти в одном месте не менее версты водой выше колен, но, пришедши на ночлег, высушили мокрую обувь и платье и на другой день пошли домой как ни в чем не бывало. Так была крепка еще молодая натура!»

По окончании семинарского курса будущий иерарх сильно заболел и поэтому не смог поступить на учебу в духовную академию.

«Что же мне, горькому сироте с единственными десятью рублями, оставалось делать? Двери бursы для меня тоже затворены, я должен был оставаться на наемной квартире, иметь свой стол и прочее содержание. До сих пор, пользуясь всегда казенным содержанием, я не испытывал ни в чем особенной нужды, а теперь я должен был встретиться с нищетой лицом к лицу. Поиски уроков и священнических вакансий были безуспешны. Пришлось пристроиться ради куска хлеба на должность смотрителя семинарской больницы за два рубля в месяц с правом жить при больнице и пользоваться столом».

В 1841 году Иоанн Тихомиров был определен учителем в Муромское духовное училище. В Муроме он встретил свою будущую супругу. 18 января 1842 года он был рукоположен во диакона, а 25 января – во священника к Муромскому собору. Паству отца Иоанна составляли, по его собственным словам, три неполных двора: городничий с женой-старушкой, окружной начальник, женатый на лютеранке, и жена лесничего-немца. Проповедовать было некому, и он целиком посвятил все свое свободное время преподавательской работе в училище. «Когда, бывало, придешь в класс и заставишь учеников писать, они один за другим подходят ко мне с перьями и с детской наивностью говорят: “Дяденька, очини мне перышко!” И грех и смех! Но какое утешение видеть, как невинные дети природы постепенно развиваются и успевают в науках, видеть в их взглядах оживленность и бодрость», – писал будущий владыка в своих воспоминаниях. В свободное время отец Иоанн изучал творения святых отцов, особенно любил читать проповеди митрополита Филарета (Дроздова) и архиепископа Иннокентия (Борисова).

В июле 1844 года отца Иоанна постигло огромное горе: у него умер единственный сын, Михаил, а в апреле 1845 года – супруга. «Теперь я как трость, ветром колеблемая, лишившись самого лучшего на земле живого сокровища. Все мои земные надежды покрыты гробовой доскою», – писал молодой вдовец-священник одному из своих друзей. Внутренний голос влек отца Иоанна в духовную академию и на путь иноческой жизни. «Для чего же Бог вложил в меня такое непреодолимое влечение к занятию книжному? С тех пор как я начал сознавать себя, книги были исключительным предметом моих занятий, а теперь обратились в какую-то необъяснимую потребность».

В 1845 году отец Иоанн оставляет службу в соборе и поступает в Московскую духовную академию. «По собственному опыту, – писал он, – могу сказать, что для молодого вдовца-священника, разумеется сколько-нибудь расположенного и способного к занятиям науками, самое лучшее и безопасное убежище – академия. Сравнивая прежнюю мирскую жизнь с настоящей моей, очень много нахожу преимуществ на стороне последней. Здесь совершенно свободен от всех сует и неприятностей, какие необходимо встречаются в мире при многообразных отношениях. В академии и отношения, и занятия простее».

Среди профессоров Московской духовной академии в то время преподавали такие известные ученые, как Ф.А. Голубинский, Е.В. Амфитеатров, А.В. Горский. Их лекции про-

изводили на молодого студента-священника огромное впечатление, располагая к усиленным научным трудам.

«Между студентами, особенно часто посещавшими академическую библиотеку, – писал бывший бакалавр академии, впоследствии архиепископ Ярославский Леонид (Краснопевков), – приметен был один молодой священник с светлыми волосами, чрезвычайной худобы в теле и с приятной смесью чего-то кроткого, серьезного и добродушного в лице. Его, переходящего с книгами от шкафа к шкафу, и его короткую рясу я врезал в памяти навсегда. Этот священник поступил из Владимирской епархии, где был иереем Муромского собора. Овдовев, он возвратился к науке, и недаром: его скоро поставили в числе первых десяти студентов. Мои лекции были, вероятно, хуже прочих, однако и их он посещал усердно и слушал внимательно. Это мне памятно потому, что одежда резко отличала его от прочих слушателей и он садился впереди».

1 октября 1848 года, в день Покрова Пресвятой Богородицы, молодой студент-священник Иоанн Тихомиров, согласно прошению, был пострижен в монашество с именем Савва, во имя преподобного Саввы Вишерского, чья память отмечалась также в этот день. Постриг совершил ректор академии архимандрит Алексей (Ржаницын), восприемником при пострижении был инспектор академии иеромонах Сергей (Ляпидевский). Митрополит Филарет (Дроздов) прислал новопостриженному иеромонаху параман и рясу.

«Древняя мимоидоша, – писал иеромонах Савва в своем дневнике, – се быша вся нова: новое имя, новая одежда, новые правила жизни; о, если бы Господь обновил и дух правый во утробе моей! С благоговейным трепетом усматриваю я особенное призвание Божие к иноческой жизни во всех прежних обстоятельствах своей жизни. Смотрите, в самом деле, как постоянно и вместе с тем очевидно Господь отрешал меня от мира и призывал на служение Себе; взял у меня родителя прежде, нежели я увидел свет, лишил матери в то время, когда я еще имел крайнюю нужду в попечении, определил испытать мне горький жребий сиротства, с той, конечно, благой целью, чтобы заблаговременно ознакомить меня с тесным путем креста. Но вот, после долгого томления в сиротстве, краткое время дает мне вкусить некоторую сладость жизни в семейном благополучии, но и здесь скоро начинаются опять прежние лишения: умирает сын, который при своей жизни естественно привязал бы меня к миру; наконец лишился того, что привязывало меня к миру, – жены; все это не ясные ли, постепенно, более и более, возвышающиеся гласы божественного воззвания меня от бурного моря к тихому пристанищу монашеского жития? Да будет же благословенна воля Божия, избравшая и посвятившая меня на служение Себе, можно сказать, из чрева матери!»

В 1850 году иеромонах Савва окончил академию со степенью магистра богословия и был назначен митрополитом Филаретом (Дроздовым) Синодальным ризничим. Теперь иеромонах Савва большую часть времени посвящает церковной археологии. Он занимается описанием более примечательных предметов ризницы и библиотеки, и в 1855 году явился составленный им «Указатель для обозрения Московской Синодальной (патриаршей) ризницы». Этот труд принадлежал к числу замечательных явлений ученой литературы по церковной археологии и палеографии и удостоен был Демидовской премии. Служение в должности ризничего позволило ему познакомиться со многими учеными, как русскими, так и иностранными. Среди них С.М. Соловьев, О.М. Бодянский, С.П. Шевырев, Ф.И. Буслаев. С этого времени началось близкое знакомство отца Саввы с отцом Леонидом (Краснопевковым), переросшее в искреннюю дружбу. В письмах отец Савва советовался с отцом Леонидом по самым разным вопросам, будь то обсуждение в обществе смерти великого русского писателя Н.В. Гоголя или сохранение монашеского звания в чистоте от окружающего мира. 1 октября 1852 года отец Леонид писал отцу Савве: «В послании Вашем спрашиваете моего мнения в прогулке на выставку. Скажу не обинуясь: и в церковь иду с предосуждением для себя, если хочу сделать во храме Божиим выставку из себя, но и с выставки в манеже могу возвратиться без всякого предосуждения, если

мое монашество ходило туда со мною. Мы монахи, но по положению своему не пустынноики; нам невозможно и даже не должно вовсе бегать от столкновений с миром, но должно соблюдать себя неоскверненными от мира. Урок наш труден; но кто знает, был ли бы другой легче для нас. Вот мое искреннее мнение, по Вашему требованию высказанное: судите, не осуждайте. Христос посреди нас ныне и вовеки».

15 мая 1855 года отец Савва был возведен в сан архимандрита – звание, которого не имел ни один из прежде бывших ризничих. По свидетельству архимандрита Леонида (Краснопевкова), архимандрита Савву отличала «готовность всякому служить своими знаниями, своим временем, своими учеными связями, делала библиотеку и ризницу общедоступной сокровищницей старины; а лицо Синодального ризничего поставляли в общем мнении так высоко, как оно никогда не возвышалось. И русские не могли довольно похвалиться им, и ученые иностранцы, особенно которые могли говорить с ним по-латыни, делали о нем великолепные отзывы».

Добросовестное исполнение своих обязанностей помешало отцу Савве стать ректором Вифанской духовной семинарии. Когда митрополит Филарет решил определить его на эту должность, известный писатель и историк А.Н. Муравьев возразил владыке: «Архимандрит Савва – ризничий примерный, а ректор будет, может быть, посредственный; на ректорскую должность Вы можете найти способного человека; а где Вы можете взять такого человека на должность ризничего?» Митрополит изменил свое намерение, и ректором был определен архимандрит Игнатий (Рождественский). После этого случая архимандрит Савва еще около двух лет оставался в должности ризничего.

18 мая 1859 года архимандрит Савва был назначен ректором Московской духовной семинарии. «Не без смущения и трепета сердечного вступаю в новую должность. Всего более страшит меня мысль, оправдаю ли ту лестную и утешительную для меня доверенность, какую Вы благоволили оказать мне. Свидетельствуюсь моей совестью, что ревность и готовность к полезной деятельности имею; но успеха в делах ожидаю от помощи Божией и от Вашего архипастырского руководства», – писал он митрополиту Филарету.

«Иным казалось, что, уклонившись в специальность археологии, – писал епископ Леонид (Краснопевков), – он не подымет бремени ректорства; оказалось противное. Умом просвещенным, характером открытым и твердым, без жестокости, он совершенно овладел своей должностью. Он был тяжел только для врагов порядка. В семинарии завелись было преподаватели с либеральными тенденциями – он смело ограничил их; был, конечно, непопулярен в семинарии, но поддержал порядок».

21 января 1861 года, согласно ходатайству митрополита Филарета, Святейший Синод назначил архимандрита Савву ректором Московской духовной академии. Получив новое назначение, особенно его пугало чтение лекций по догматическому богословию, так как он считал себя не подготовленным к этому предмету. Обладая ровным, благодушным, но в то же время твердым характером, он вскоре овладел благорасположением к себе корпорации профессоров и студентов. Но недолго пришлось архимандриту Савве пребывать в стенах духовной академии, так как вскоре ему был приготовлен путь архиерейского служения. «Не долго Вы с нами жили, – писал отцу Савве А.В. Горский, узнав о новом его назначении, – но влияние Вашей деятельности отозвалось благотворно в жизни академической. Этого не забудет академия».

4 ноября 1862 года архимандрит Савва был хиротонисан во епископа Можайского, второго викария Московской епархии. Хиротонию совершал митрополит Филарет в Успенском соборе Московского Кремля в сослужении архиепископа Евгения (Казанцева) и епископов Леонида (Краснопевкова) и Никанора Фиваидского (впоследствии патриарха Александрийского).

«Слезы струились из глаз первосвященника, – писал преосвященный Леонид, участвовавший в этой хиротонии, – когда у престола, над главой коленопреклоненного поставляемого, читал он тайные молитвы, а Евангелие и руки архиереев возлежали на ней. Да, дивны пути Промысла Божия в судьбе преосвященного Саввы. Сирота прежде рождения достигает и высшего образования, и почестей высшего звания в Церкви. На 32-м году жизни отец Савва только что окончил курс академический, а 43-х лет он – архиерей. При самом выходе из академии сходит с дороги училищной службы и делается впоследствии ректором академии; действует с такой прямоотой, что, по-видимому, разрушает свое внешнее благополучие, и, однако же, прежде многих старейших призван к высшему служению Церкви».

Несмотря на новое высокое положение, он сохранил прежние отношения со своими товарищами и всегда говорил, что «в дружбе чины забываются».

В ведении епископа Саввы находились церкви и монастыри, входившие в круг ведомства Можайского духовного правления. Много поручений он выполнял и своего архипастыря – любимого им митрополита Филарета (Дроздова): обозревал духовные заведения, следил за исполнением дел в консистории. Работа под руководством многоопытного и мудрого святителя оказала огромное влияние на дальнейшую службу владыки Саввы. Он приобрел богатый духовный опыт, воспитал в себе чувство меры к человеческим слабостям и усвоил все примеры в управлении своего знаменитого руководителя: твердость, соединенную с осторожностью, ревность, свободную от фанатизма, и благодушие, не переходящее в слабость.

17 июня 1866 года владыка Савва получает назначение на самостоятельную епархию: Полоцкую и Витебскую. Очень тяжело переживал разлуку со своим викарием святитель Филарет. «Отнимают у меня правую руку, моего викария, лучшего моего помощника», – говорил он.

19 ноября 1867 года святитель Филарет скончался. Его утрата была невосполнимой для владыки Саввы. С этого времени он начинает заниматься подготовкой и изданием бумаг покойного святителя Филарета, воздавая долг своему любимому учителю.

Служение в Полоцкой епархии было особенно многотрудным для владыки Саввы. Недавно воссоединенная из унии, бедная средствами духовными и материальными, епархия эта стоила преосвященному Савве многих забот и огорчений. В письме к наместнику Троице-Сергиевой лавры архимандриту Антонию (Медведеву) от 2 апреля 1867 года он писал: «В настоящем, не обвиняясь скажу, тягостном моем положении для меня единственным утешением служит воспоминание о дорогой Москве и добрая память Москвы о мне». Храмы в епархии были бедны и неблаголепны, монастыри с малым числом братии и с скудными средствами, народ в отдельных местностях придерживался унии. «Приходилось иногда впасть чуть не в малодушие среди разнообразных огорчений и искушений, – писал он к преосвященному Леониду (Краснопевкову), – бури, воздвигаемые на мою душу разными врагами, и внутренними и внешними, и своими и чужими, часто до глубины возмущали мое сердце». Утешение в скорбях он находил в Москве, среди тамошних добрых людей, которые не оставляли его и советами, и материальной помощью на благоукрашение храмов.

Труд епископа Саввы в Полоцкой епархии был поистине равноапостольный. Выражения Высочайшей грамоты как нельзя лучше характеризовали благотворную деятельность преосвященного Саввы в Полоцкой епархии: «... неутомимые труды по приведению в благоустройство вверенной Вам воссоединенной паствы и постоянная заботливость об окончательном слиянии ее с древлеправославною» – и указывали ту великую для Церкви и Отечества задачу, которую он всеми силами старался выполнить и, сколько мог, действительно выполнил. К концу управления «и свои и чужие» увидели, что напрасно огорчали святителя, отдавшего всего себя делу благоустройства епархии.

7 декабря 1874 года владыка Савва был переведен на Харьковскую епархию, где пробыл пять лет. Перевод на новую кафедру владыка рассматривал как Промысл Божий и любил повторять, что «мы счастливы больше тогда, когда следуем указанию Промысла, нежели когда

сами пролагаем себе путь». Девизом его архипастырской служебной деятельности было: польза и слава Православной Церкви, честь и благо паствы.

15 декабря 1876 года архиепископ Леонид (Краснопевков) скоропостижно скончался во время обозрения вверенной ему Ярославской епархии. Потеря друга была еще одним тяжелым ударом для владыки Саввы, и очень неожиданным. В память о друге он издает «Воспоминания о высокопреосвященном Леониде, архиепископе Ярославском и Ростовском». (Харьков, 1877). Книга имела большой успех. В адрес владыки Саввы поступило много благодарственных писем за это издание. Протоиерей В.П. Нечаев писал: «Книга знакомит читателя с личностью его (владыки Леонида. – *Ред.*), с его внутреннею жизнью, с его характером, склонностями, привычками, с его отношениями семейными и церковно-общественными. В ней много данных не только для его биографии, но вообще для русской церковной истории нашего времени. Главное достоинство заключается в искренности выраженных чувств. Но если были какие недостатки в преосвященном Леониде, они бледнеют в сопоставлении с несомненными достоинствами: его аскетизм, его пастырская ревность – образец для подражания архиереям».

Литератор Лихницкий писал:

«В настоящий век, век по преимуществу эгоизма и меркантильности, дружественные отношения основаны по большей части на расчетах, взаимных выгодах; друг остается другом, пока только он в силе, славе, пока богат; пока, так или иначе, может быть нам полезен, выгоден, необходим. Не только со смерти друга умирают в нас и чувства привязанности к нему; нет, смерть постигает дружбу и раньше, постигает, как только изменяются взаимные отношения друзей. Дружественные отношения, основанные исключительно на взаимном духовном единении, на влечении одной души к другой и продолжающиеся не год, не два и не один десяток лет и сохраняющиеся во всей полноте даже и по смерти друга, согласитесь, явление редкое, пример, достойный подражания. Письма преосвященного Леонида до того хороши, до того назидательны и настолько увлекательны, что некоторые из них с наслаждением перечитывал я несколько раз и при чтении испытывал то же биение сердца, какое ощущал, помню, когда впервые читал нашего бессмертного Пушкина».

23 апреля 1879 года владыка Савва получил назначение на последнюю в жизни кафедру – Тверскую, а 20 апреля 1880 года возведен в сан архиепископа. Непрестанная забота о благоуукрашении храмов Божиих, о благоустройстве духовно-учебных заведений, попечение о внутреннем благоустройстве иноческой жизни, частые периодические посещения епархии во всех ее уголках – вот предмет постоянной деятельности владыки Саввы на Тверской кафедре.

Господь одарил преосвященного Савву высокими дарами духа: умом светлым, крепким, основательным, умудренным опытностью; сердцем добрым, благостным, глубоко верующим, открытым, любвеобильным, подобно сердцу матери, сострадательным к скорбям сирых, вдовиц и несчастных; волей и характером мягким, когда нужно было оказать благость, снисходительность, и твердым, когда нужно было оказать справедливость и удержать или обуздать зло. Вся жизнь и деятельность его была проникнута самой высокой христианской любовью к пасомым, самым искренним желанием им добра.

13 октября 1896 года окончились земные дни высокопреосвященнейшего Саввы. Перед кончиной он был напутствован Святыми Христовыми Тайнами. Глубокая, проникавшая все его существо вера в промысление о нем Божие не оставляла его от первых дней юности до кончины. Погребен владыка Савва был в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Твери. К сожалению, захоронение его не сохранилось, так как в 1935 году собор был взорван.

Сорок лет продолжалась учено-литературная деятельность высокопреосвященного Саввы, не прекращавшаяся ни на один день, несмотря на управление кафедрами. Его ученые труды, принесшие великую пользу Церкви и Отечеству, отличались основательностью исследования, обилием исторических сведений, твердостью мысли и убеждения. В 1894 году владыка Савва был удостоен ученой степени доктора церковной истории.

Особое место в литературном творчестве высокопреосвященного Саввы занимает «Хроника моей жизни. Автобиографические записки высокопреосвященного Саввы, архиепископа Тверского и Кашинского». Свои записи он начал писать в 1876 году и окончил в 1892 году. В последние годы владыка Савва стал терять зрение, и поэтому записи были написаны не собственноручно, а под диктовку. В письме к Ф.И. Буслаеву он писал: «Продолжаю ли я “Хронику своей жизни”? Продолжаю мало-помалу. Но появится ли эта “Хроника” когда-либо в печати – это вопрос будущего. По всей вероятности, мне придется оставить ее в рукописи на память потомству». Издание было осуществлено спустя два года после кончины владыки Саввы, в 1898 году в Сергиевом Посаде, в издательстве А.И. Снегиревой. В предисловии издателя писали:

«Талантливый наблюдатель, высокий художник слова, православный богослов и в то же время благодушный и спокойный человек, он в своей “Хронике” обнимает историю большей половины истекающего столетия и освещает ее тем правильным и ясным светом, который может исходить из сердца лишь истинного христианина».

* * *

Издательство Сретенского монастыря благодарит сотрудников рукописного отдела Российской государственной библиотеки за предоставленную возможность использовать в подготовке книги материалы из архива владыки Саввы (Тихомирова), фонд 262.

Галина Гуличкина

Детство. Годы учебы в Шуйском духовном училище и Владимирской духовной семинарии

1819 год

*От чрева матере моя Ты еси
мой покровитель... Не отвержи мене
во время старости: внигда оскуде-
вати крепости моей, не остави мене.*

Пс. 70, 6, 9

Я родился 15-го марта 1819 года. Родители мои были Михаил Сергеевич и Стефанида Ивановна.

Отец мой был сын диакона Крестовоздвиженской церкви села Палеха Вязниковского уезда, Владимирской епархии Сергея Никитича; родился 20-го сентября 1783 года. Оставшись в малолетстве круглым сиротою, он воспитывался в доме священника и благочинного того же села Палеха Ивана Ефимовича Дмитревского (уроженца Вологодской епархии), женатого на сестре деда его, Никиты Феодоровича, Ирине Феодоровне. 11-ти или 12-ти лет он, обучившись грамоте, определен был к той же Крестовоздвиженской церкви, при которой был его отец, на должность пономаря и вскоре посвящен был в стихарь.

Мать моя, Стефанида Ивановна, родилась в 1788 году, была дочь также диакона села Гориц Шуйского уезда, Суздальской (ныне Владимирской) епархии Ивана Ивановича. Дед ее, также Иван Иванович, был дьячком в селе Горицах, а прадед отец Иоанн в том же селе был священником. Овдовевши, он поступил в число братии в Николо-Шартомский монастырь, находящийся от Гориц в 4-х верстах. Здесь, принявши монашество с именем Иоасафа, он возведен был в 1780 году в сан игумена, но в ночь на 29-е число августа 1786 года неизвестно кем был убит в монастыре, как замечено в старинном монастырском синодике¹.

Как у моего родителя была только одна сестра Аграфена Сергеевна, бывшая в замужестве за священником в селе Богородском Шуйского уезда отцом Александром, так и у матери моей был только один брат Петр Иванович, который был сначала дьячком при Горицкой Богородицкой церкви, а потом при той же церкви диаконом.

Отец мой, как мне его описывали, был невысокого роста, с русыми волосами и красивым лицом; при живом и веселом характере, отличался любознательностью и пользовался добрым расположением прихожан и родных, коих как в Палехе, так и в Горицах было очень много. Кроме исполнения своих служебных обязанностей по церкви, он занимался домашним столярным ремеслом – вставкой в оконные рамы стекол, и даже искусством – иконописью. Известно, что во второй половине XVIII столетия палеховцы заимствовали искусство иконописания от иконописцев г. Шуи – главного тогдашнего центра старинной Суздальской иконописи². У меня и теперь цел образ Божией Матери Всех скорбящих Радость – произведение кисти моего родителя. Впрочем, на этом образе ему принадлежит только доличное, т. е. платье, а лица писаны другим, более искусным мастером. В Суздальской, а равно и в Палеховской иконописи существовало следующее разделение труда: один левкасит, т. е. грунтует алебастром, смешанным с простым клеем, доски, другой по заготовленному на доске рисунку пишет лица, третий –

¹ Описание г. Шуи и его окрестностей, В. Борисова. М., 1851. С. 206.

² Описание г. Шуи и его окрестностей, В. Борисова. М., 1851. С. 76.

доличное (платье), четвертый подписывает, пятый накладывает серебро, шестой окрашивает поля (края образа) и последний олифит³.

У родителей моих было 12 дочерей и ни одного сына: поэтому, естественно, отцу моему чрезвычайно хотелось иметь наследника – сына, и Господь внял его пламенному желанию; но ему не дано было утешения видеть появление на свет желанного сына.

В январе 1819 года Михаил Сергеевич был в Горицах у своей тещи Анны Васильевны в гостях. Возвращаясь оттуда домой, он сильно простудился и, после кратковременной болезни, 25-го числа того же января скончался на 36-м году от рождения, оставив беременную жену с тремя дочерьми.



Вознесенская церковь в с. Горицы на берегу реки Тезы

Мать моя, Стефанида Ивановна, вскоре после кончины своего мужа оставила Палех и переселилась с дочерьми на свою родину в село Горицы, где у нее оставались еще в живых мать, Анна Васильевна, и младший брат. На первый раз она поместилась у брата своего, диакона Петра Ивановича, в особом небольшом флигеле на дворе, и здесь-то 15 числа марта 1819 года разрешилась от бремени рождением первого и последнего сына, которого во святом крещении нарекли Иоанном в честь преподобного Иоанна, писателя лествицы, коего память совершается Церковью 30 марта. Восприемниками при моем крещении были: означенный диакон – Петр Иванович и старшая его дочь девица Елизавета Петровна, которая вскоре после того скончалась. Итак, мне суждено было, по воле Божией, родиться не под родительским кровом, а в чужом, хотя и родственном доме. Не было ли это предзнаменованием моей страннической жизни, моего постоянного переходения из места в место, из града в град?

Младенчество мое, как мне сказывала старшая сестра, сопровождалось болезнями и лишениями. На первом же году жизни я страдал от кровавого поноса и был в крайней опасности жизни. От этой болезни меня лечили красным вином с растопленным сургучом и поили водой с какого-то целебного камешка, хранившегося у какой-то благочестивой, а может быть, суеверной старушки, известной под именем Малинки. Как бы то ни было, но *храняй младенцы* Господь сохранил мою слабую жизнь и хранит ее, по Своему неизреченному милосердию, до сего дня. Для моего питания требовалось молоко, но у матери моей своей коровы еще не было, а просить молока у брата своего, у которого была корова, она, вероятно, стеснялась, так как у него было свое немалочисленное семейство. К моему счастью, нашлась в соседстве одна добрая и сострадательная крестьянка, Феодора Михайловна Чайкина, которая, тайно от родных

³ Ежегодник Владимирского статистического комитета, Т. 1. Вып. 1. Владимир, 1876. Стлб. 229–230.

моей матери, каждый день доставляла для меня свежее молоко. Я помню хорошо эту благодетельную мою кормилицу, но ее давно уже нет в живых. Упокой, Господи, ее добрую душу.

1822 год

Моей матери предоставлена была просфорническая должность при Горицкой церкви и дано было небольшое место для постройки дома рядом с большим домом ее брата. Скоро ли построен был дом моей матери, я не знаю, но в январе 1822 года, когда мне не было еще трех лет от роду и когда в первый раз пробудилось мое сознание, я помню, что мы жили уже в своем доме. Дом этот небольшой деревянный, с трех окнами; сзади, через сени, сделана была пристройка, разделенная на две половины; в одной была холодная светелка с двух окнами, а в другой – темный чулан; при доме – небольшой дворик и маленький огород.

У матери моей, кроме меня, было три дочери: Мария, Прасковья и Анна. Все они своими трудами приобретали себе насущное пропитание: зимой занимались тканьем бумажной красной пестряди, так называемой «александрийки», производство которой тогда в нашем крае составляло исключительное почти женское ремесло; а летом нанимались иногда у дяди, диакона, а иногда у священника, также родственника, жать хлеб. Старшая сестра моя Мария Михайловна, которая осталась по смерти родителя 17-ти лет, выдана была в замужество еще при жизни нашей матери. Это было 25 января 1822 года, когда мне было, как выше замечено, менее трех лет. Свадьба моей сестры была первым событием в моей жизни, сохранившимся в моей памяти.

После сего все заботы и попечения моей матери сосредоточены были преимущественно на мне, как на младшем и единственном сыне.

Детство мое под материнским кровом текло мирно и беззаботно. В летнюю пору я предавался на улице, с немногими сверстниками своими, обыкновенным детским забавам – беганью по лужайкам, игре в бабки и др.; а зимой большую часть дня проводил дома, занимаясь постройкой из бабок церкви; наряжаясь в ризы, делая их из больших платков; привешивая на печи к шесту коклюшки, которые сестры мои употребляли при плетении кружев, и ударяя этими коклюшками о шест, как бы производя на колокольне звон⁴. Вообще, у меня с самого детства была особенная привязанность к церковным предметам: видно, что благолепие приходского храма и строгая чинность богослужения производили на меня глубокое впечатление. А с тех пор, как я начал себя помнить, я неопустительно бывал при воскресных и праздничных богослужениях, которые на моей родине совершались в точности по уставу, со всеми положенными чтениями из толкового Евангелия, Четией-Минеи и отеческих писаний, так что всеобщая, например, служба под великие праздники продолжалась часа четыре и более. И как в зимнее время утреннее богослужение начиналось часа в три по полуночи, а иногда и ранее, то когда мне было уже лет шесть или семь от роду, меня непременно будили к утрени.

⁴ О св. Антонии, патриархе Константинопольском, жившем в первой половине IX века, пишут, что в нем, когда он был еще младенцем, было замечено стремление к священным действиям и пр. (см.: Вечный календарь Е.А. Тихомирова. Т. 1, М., 1879. Под 12 числом февраля. С. 133).

1825 год

В декабре 1825 года, когда мне было уже более 6-ти лет от роду, гуляя раз в сумерки на улице и катаясь на санках или на лубянке(из льда) с горы, я неожиданно поражен был ударом большого, в 600 пудов, колокола на колокольне Покровской церкви соседнего села Дунилова, а через несколько минут повели меня в свою Горицкую церковь. Здесь собралось духовенство всех церквей обоих сел по случаю восшествия на престол Императора Константина Павловича. Заставили и меня поднять руку вверх с обычным перстосложением для крестного знамения, когда читана была присяга, а затем и целовал Евангелие. То же самое повторилось через несколько дней, когда получен был новый манифест о восшествии на престол императора Николая Павловича.

Среди неграмотного семейства (мать и сестры мои – все были неграмотны) очень рано во мне пробудилось сильное стремление к обучению грамоте; в особенности мне хотелось как можно скорее научиться писать. Вероятно, к этому поощрял меня пример двух сыновей моего дяди, которые старше меня были годами и уже учились в школе. В нашем доме была единственная книга – календарь не помню какого года прошедшего столетия с пробельными в ней листами. Не умея еще читать, я исписал все эти листы разными чертами и каракулями; и так как в доме не было ни чернил, ни перьев, то младшая сестра моя Анна вместо чернил готовила мне из лазори, добываемой с химического завода, раствор, а вместо пера очинивала лучинку. Лет шести я начал неотступно просить мать, чтобы она купила мне азбуку; но так как этой книги в селе приобрести было нельзя, а нужно было посылать за нею в город, то, пока это происходило, я приступил к своей тетке Татьяне Ивановне, жене моего дяди, диакона, чтобы она выучила меня читать, хотя сама она была безграмотная. Но как она, вероятно, слышала, как ее дети громко твердили по книжке буквы и склады, сама заучила их на память, то эту мудрость не отказалась передать мне; с ее слов я выучил на память названия букв и начальные склады их. Но когда дело дошло до слов под титлами: ангел, ангельский и проч., то моя добрая учительница сама стала в тупик.

1826 год

Между тем мне, наконец, куплена была азбука, и с нею я отдан был соседу нашему, дьячку Михаилу Васильевичу Белоцветову, в книжное научение. Дело было так. 1 декабря 1826 года, в день святого пророка Наума, матушка повела меня в церковь к обедне и после обедни, поставивши довольно большую свечу – помнится, в пятиалтынный – перед иконописными святцами, просила священника отслужить молебен пророку Науму, чтобы он наставил меня на ум, на разум, а дьячку Михаилу Васильевичу сказала, чтобы он не снимал с подсвечника свечи, пока она вся не сгорит перед образом⁵. Вслед за тем она отвела меня в дом учителя или, как говорили у нас тогда, мастера, и с этого благословенного дня начался курс моего учения.

Когда привели меня к Михаилу Васильевичу учиться, у него были уже три ученика из крестьянских мальчиков, сверстников или немного старших меня по летам.

Ученье наше шло таким образом. Книжки наши лежали не на столе, а на лавке; мы же сами сидели пред лавкою на низеньких стуликах. Между нами сидел на таком же стулике и сам мастер, занимаясь сапожным мастерством. Мы все читаем вслух, и он, бывало, не пропустит ни одной ошибки не только в словах, но и в ударениях, и даже в знаках препинания, без должного исправления и замечания. Вообще, Михаил Васильевич был великий мастер своего дела. Он был человек с некоторым даже образованием; учился в семинарии и простирался до поэзии; любил на досуге читать книги и входил даже, по праздничным дням, в словопрения с раскольниками, которых в соседнем селе Дунилове было много, и притом разных сект.

⁵ Об обычае совершать перед начатием учения молебен пророку Науму см.: Чтения московского общества истории и древностей Российских, 1861. Кн. IV. Еще в Месяцеслове, изд. архимандритом Димитрием, под 1-м числом декабря.

1827 год

Мое учение под руководством Михаила Васильевича было очень непродолжительно. Начавши 1 декабря 1826 года со второй половины азбуки, где содержатся все славянские слова, которые обыкновенно печатаются сокращенно – под титлами, где затем показаны славянские цифры, означаемые буквами алфавита, и где, наконец, изъяснены строчные и надстрочные знаки препинания и ударения вроде следующих: оксия, вария, камора, краткая, звательница, титла, слово титло, апострофы, кавыка, ерок, запятая и проч., я скоро прошел Часослов, а к весне следующего, 1827 года окончил и Псалтирь. Затем мне следовало приступить к упражнению в искусстве чистописания; но я не знаю, по каким соображениям, вероятно экономическим, меня не оставили уже у Михаила Васильевича, который писал очень красиво, а перевели к зятю Василию Александровичу на Пустыньку, как обыкновенно называли уединенную местность, где находилась помянутая выше единоверческая церковь, при которой зять мой был пономарем. У зятя в продолжение двух-трех летних месяцев, я оказал довольно порядочные успехи в чистописании. Между тем приближалось время поступить мне в школу.

Но прежде чем оставить родной кров, я изложу здесь краткие сведения о моей родине и ее окрестностях.

Село Горицы, где я родился, находится от уездного города Шуи в расстоянии 17-ти верст по почтовому Костромскому тракту; расположено на правом берегу реки Тезы. Название свое получило от гористого местоположения. Местность очень красивая. Дома моей матушки и ее брата занимали в селе едва ли не самое лучшее местоположение. Они стояли особняком. Мимо нашего дома с левой стороны проходила из села Иванова большая купеческая дорога в Нижний Новгород; а с правой стороны дома моего дяди лежал довольно глубокий овраг, отделявший оный от обширной поляны. С восточной стороны пред окнами под горой протекала река, а за ней раскинуто версты на две большое село Дунилово.

В моем детстве священником Горицкой церкви был отец Матвей, двоюродный дядя моей матери. Видный и благообразный собою, он не имел школьного образования и из причетников возведен в сан священства и был даже благочинным. Имел приятный голос и в служении был очень благолепен. Жена его Анна Степановна была грамотная и очень любила читать и петь в церкви; случалось нередко, что она одна на клиросе отправляла вместо дьячка раннюю обедню; а при отпевании покойников она, бывало, никому не даст читать 17-ю кафизму; ходила иногда с причтом и в дома прихожан для отправления молебнов. Помню как теперь: мы были в одном богатом доме для совершения водосвятного молебна (брали по домам и нас, детей, для получения конечных подаваний). Мне довелось стоять у зеркала, и я нередко заглядывал в него. Анна Степановна, стоя сзади меня и приметивши мое неблагочине, дернула меня довольно сильно за ухо и тем дала понять, чтоб я не засматривался в зеркало. К несчастью, эта почтенная старица страдала по временам недугом пьянства и, уходя из дома, приходила иногда по ночам к нам и настойчиво требовала от матушки водки, оставаясь в нашем доме до утра. У о. Матвея была единственная дочь Александра Матвеевна, которая была в замужестве за священником Покровской церкви села Дунилова Василием Васильевичем Сапоровским, но которой в живых я уже не помню. У него же в доме жила какая-то родственница, кажется двоюродная сестра, девица Ольга Алексеевна, которой родной брат Александр Алексеевич Горицкий был уездным стряпчим в г. Муроме.

Диакон Петр Иванович, рукоположенный в диакона в 1809 году, – родной брат моей матери и мой отец крестный. Довольно высокого роста, темно-русый с короткими волосами на голове, но с довольно большою бородою и длинными усами; с громким голосом и с живым характером; отличный знаток церковного устава и весьма ревностный по службе; школьного образования не получил, но был довольно начитан: Четьи-Минеи святителя Димитрия Ростов-

ского едва не знал наизусть; беспорядков и шуму в церкви терпеть не мог. Когда кто-либо разговаривал в церкви, ему стоило только на амвоне поворотить голову и шевельнуть усом, чтобы прекратить всякий беспорядок; в особенности боялись его женщины. Строг был он и в семье; а семейство его было немалочисленно: кроме жены, Татьяны Ивановны, было два сына и четыре дочери. У него же проживала и мать его Анна Васильевна. Сыновья – Иван и Михаил – оба были старше меня; но Михаил, проучившись два или три года в духовном училище, скончался, а Иван окончил в 1832 году курс семинарии. Дочери были Мария, Пелагея, Олимпиада и Елисавета. При таком значительном семействе церковных доходов для содержания его было, конечно, недостаточно. Поэтому надлежало изыскивать к сему другие источники. По временам Петр Иванович занимался посредством найма обработкой принадлежащего ему участка церковной земли; но главным и постоянным его занятием была торговля оконными рамами, фонарями и хрустальной посудой; а жена его торговала красной пестрядью, которую приготавливали дочери и посторонние женщины. При этих занятиях материальное благосостояние семейства моего дяди было весьма удовлетворительно. Поэтому у них в доме давно уже заведен был самовар, и они почти ежедневно пили чай, тогда как у моей матери и в помине об этом не было. Бывало, в большие годовые праздники, как, например, в Пасху и в Рождество, мою матушку приглашали на чай к дяде, а она брала с собой и меня: и как было радостно и весело на душе быть в такие торжественные праздники в светлой, чистой комнате, где все дышало изобилием и довольством! Но раз вот что случилось со мною. В горнице, в которой обыкновенно мы пили чай, были стенные часы с кукушкой. Когда я в первый раз услышал пронзительные звуки этой кукушки, я так был испуган этой неожиданностью, что со слезами бросился бежать вон из горницы, и после бой часов каждый раз производил на меня самое неприятное впечатление.

Дьячок Михаил Васильевич Белоцветов определен был на место в 1819 году. Он был наш ближайший сосед; его дом был позади нашего. Был он двоеженец и так строго соблюдал церковное правило относительно двоеженцев, что никогда не позволял себе проходить в алтаре по горнему месту мимо престола. Он голос имел не сильный, но приятный тенористый; ноту церковную знал очень твердо и умел петь даже столповым, старинным напевом. В воскресные и праздничные дни собиралось на клиросах много грамотных прихожан, которые и пели и читали вместо причетников; но под великие праздники они требовали, чтобы первые две или четыре стихиры Михаил Васильевич пел по нотам, которых они сами не разумели. Стихиры же в Великий пост, на Преждеосвященных литургиях, он пел большей частью столповым напевом. Читал он неспешно и выговаривал каждое слово отчетливо, чего требовал и от других. Когда я окончил у него учение грамоты, он заставлял меня в церкви читать часы и шестопсалмие, и если я произносил какое-нибудь слово против ударения или останавливался не на знаках препинания, он пальцем ударял меня в спину или в шею. Впоследствии, когда я учился уже в школе и, в каникулярное время приходя в церковь, становился по обыкновению на клирос, Михаил Васильевич требовал от меня, чтобы я пел непременно альтом, которого у меня не было; и он был всегда недоволен, когда я пел в один с ним тон: это было, впрочем, в будничные только дни. В праздники пел, как я выше сказал, целый хор прихожан.

Пономарь Андрей Андреевич Стразов, также с 1819 года. Он был совсем других качеств: и читал нетвердо, и пел не совсем исправно, а ноты и вовсе не разумел. Под великие праздники, когда на правом клиросе пел стихиры по постному обиходу Михаил Васильевич, на левый клирос выходили петь или отец Матвей, или мой дядя, диакон, а иногда и оба вместе. Зато Андрей Андреевич был весьма услужливый человек: нужно ли, бывало, отцу Матвею ехать по благочинию для обзора церквей – он у него исправляет должность кучера; надобно ли везти в училище или в семинарию внука отца Матвея и сына отца диакона – Андрей Андреевич готов к их услугам. У Андрея Андреевича было два сына и несколько дочерей. Старший из сыновей Яков был мой почти сверстник, только годом или двумя моложе меня. С ним мы наперерыв старались прислуживать священнику в алтаре: приготовить кадило, подать теплоту, вынести

из алтаря пред Евангелием на малом ходу свечу, – это было наше дело, особенно в будничные дни; в праздники нас до этого не всегда допускали. Но играми на улице мы с Яковом вместе почти никогда не занимались, потому что он жил за церковью на другой улице от меня и у него был свой кружок друзей и сверстников.

Просфорнею при Горицкой церкви лет десять была моя матушка Стефанида Ивановна. Эта должность доставляла ей порядочные средства к жизни. Я не знаю, получала ли она какое-либо определенное вознаграждение за труды; но я хорошо помню, что она в воскресные и праздничные дни ходила по церкви со старостой с тарелкой для сбора приношений; ходила с причтом по домам во время Пасхи, осенью ходила по гумнам, во время молотбы, с мешком для сбора так называемой нови, иногда брала с собой и меня. Некоторые лепты доставлял ей и я. Когда, бывало, служит кто-либо в церкви молебен или панихиду, после вознаграждения причта давали и нам с пономаревым сыном Яковом особо по грошу, а иногда и по пятаку. Но раз служил молебен пред образом Рождества Богородицы приехавший из Муром к отцу Матвею гость, стряпчий Александр Алексеевич: он пожаловал мне серебряную монету, кажется, пятиалтынный. Это привело меня в крайнее удивление и восторг. И все таким образом получаемые мною лепты я спешил отдавать своей матери; разве иногда утаишь копейку или две на покупку для игры бабок.

При таком обширном родстве, жизнь в Горицах не могла быть, конечно, скучною. Впрочем, в доме моей матери, кроме зятя Левашева, я почти никого не видал; но у дяди Петра Ивановича нередко бывали гости, и в значительном числе. Храмовые праздники и дни именин праздновались довольно шумно и весело. Угощение было, разумеется, весьма изобильное; но предосудительного на этих пиршествах ничего не допускалось. Главную забаву гостей составляло пение, но пение церковное: пели, например, догматики или какие-нибудь канты духовного содержания. Главным зачинщиком и руководителем пения был всегда отец Василий Сапоровский, как бывший певчий и музыкант. Некоторые гости, преимущественно молодые женщины, играли иногда в карты, в дурачки или в свои козыри. Любимою же игрой моего дяди и отца Сапоровского была игра в шашки.

До осемилетнего возраста я далее Дунилова нигде почти не бывал. Раз только зять и сестра, поехавши на Никольскую ярмарку в соседнее село Пупки, отстоящее от Гориц верстах в четырех, взяли меня с собой и там купили мне, не помню, какую-то игрушку. Тут же в первый раз увидел я монастырь, Николо-Шартомский.

Обитель эта исторически известна с 1425 года. Название Шартомской она получила от реки Шартомы (ныне Шатма), впадающей близ монастыря в реку Тезу. Кем первоначально основан был монастырь, неизвестно; известно только, что в XVI веке он был родовым кладбищем князей Горбатов-Суздальских⁶. В нем с 1425 года по 1767 год настоятелями были архимандриты, затем уже игумены, а с 1830 года строители. Между игуменами в 1780–86 значится Иоасаф – мой прапрадед, о котором упомянуто было выше⁷.

В монастыре четыре каменные церкви. Главная из них во имя святителя Николая, обширная и величественная, освящена 27 апреля 1651 года.

Между священными утварями монастырскими значится рукописное Евангелие, принадлежавшее архиепископу Суздальскому Арсению Элассонскому, ученому греку († 1630 году). А в числе старинных грамот и бумаг хранится собственноручное письмо святителя Воронежского Митрофана⁸.

Настал, наконец, срок записывать меня в приходское духовное училище, которое находилось в уездном городе Шуе. Пока я находился дома, мне не стригли волос, а только под-

⁶ Собрание исторических сведений о монастырях, А. Ратшина. М., 1852. С. 32.

⁷ Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской Церкви, П. Строева. СПб., 1877. С. 681–683.

⁸ Более подробные сведения о Николо-Шартомском монастыре см. в книге: Описание г. Шуи, В. Борисова. С. 191–206.

стригали кругом, как это обыкновенно было у крестьянских детей. Теперь нужно было меня остричь, как требовалось школьными порядками. Матушка послала меня к о. Василию Саповскому просить, чтобы он меня остриг, а мне приказала остриженные волосы принести ей – что я, конечно, и исполнил. Волосы мои были белые и мягкие как лен. Матушка до конца своей жизни хранила их у себя.

Во второй половине июля 1827 года матушка повела меня в г. Шую. День был жаркий. Отойдя несколько верст, я начал чувствовать усталость. К счастью, нас догнал на дороге знакомый матушке крестьянин, который также ехал в Шую и которого она упросила посадить меня на телегу и подвезти. Добрый крестьянин, спасибо, не отказал в ее просьбе; меня посадили в его телегу. Но тут оказалась другая для меня беда: пока лошадь шла шагом, матушка не очень далеко отставала от нас и была у меня на глазах; но как скоро лошадь начинала бежать рысью, матушка скрывалась от моих глаз, и я, опасаясь как за нее, так и за себя, начинал плакать. Наконец, так или иначе, мы достигли цели своего путешествия и, прибывши в Шую, остановились у родственника своего, диакона кладбищенской Троицкой церкви Григория Михайловича Дроздова. На другой день матушка повела меня к смотрителю училища на экзамен. Тот заставил меня читать сначала по-славянски: я прочитал бойко; затем дал мне читать не помню какую книжку гражданской печати. Я хотя и мог довольно хорошо разбирать и гражданскую печать, но не так свободно, как славянскую; поэтому я, вероятно, не рассчитывая на успех, сконфузился и не мог слова выговорить, как ни ободрял меня смотритель. Нужно было при этом назначить мне фамилию. Но так как у моего родителя никакой фамилии не было, то матушка просила дать мне фамилию моего двоюродного брата – Тихомиров. А от кого эта фамилия заимствована была для моего брата, я и теперь не знаю. Отец его так же, как и мой, был бесфамильный. Скоро за тем мы возвратились домой.

Приближался сентябрь. Нужно было снова в Шую, но уже не на короткий срок. За день или за два до отъезда матушка повела меня ко всем родным прощаться. Родные при прощанье награждали меня – кто гривенником, кто пятиалтынным, а сестры мои в день отъезда моего напутствовали меня горькими слезами, как будто отпускали в рекруты; но я со спокойным и даже веселым духом стремился в школу.

Привезши в Шую, матушка снова водила меня к смотрителю и при этом принесла ему в дар десяток очень крупных яблоков. В Шую меня поместили на ту же квартиру, на которой жил мой двоюродный брат Иван Тихомиров, за год перед тем переведенный во Владимирскую семинарию. С ним вместе квартировали и вместе перешли во Владимир три брата Соловьевы – Михаил, Алексей и Николай. Из них Алексей – впоследствии известный Агафангел, архиепископ Волынский († 8 марта 1876 года).

Прежде чем говорить о моем начальном образовании в школе, я не излишним считаю познакомить читателя с историей и характером г. Шуи и Шуйского духовного училища.

Название города Шуи произошло, по всей вероятности, от положения его на левом (по-славянски – шuem) берегу реки Тезы. Первоначальное основание этого города некоторые историки, как, например, Болтин, относят к самым древним временам России⁹. Местоположение города очень красиво. Он расположен на берегу Тезы, постепенно возвышающемся от запада к востоку, и высший пункт этой возвышенности исстари называется «крутихой». В торговом и промышленном отношении Шуя – один из замечательных уездных городов Владимирской губернии. Главную промышленность шуйских граждан составляла торговля английскою и русскою бумажною, красною и белою, пряжей и производимыми из этой пряжи ситцевыми изделиями. Годовые торговые обороты простирались в сороковых годах текущего столетия на сумму до 3-х миллионов рублей. Более известные купеческие фамилии в тридцатых и сороковых годах были: Посылины, Киселевы, Корниловы, Носовы и др.

⁹ Описание г. Шуи, В. Борисова. С. 2.

Богатое шуйское купечество всегда отличалось ревностью о благолепии храмов Божиих и благотворительностью бедным.

В Шуе не очень много церквей, но все они отличаются особым благолепием и снабжены богатыми утварями и ризничными принадлежностями. Всех церквей в 1827 году было пять: Воскресенская (соборная), Крестовоздвиженская, Спасская, Покровская и Троицкая (кладбищенская). Впрочем, судя по незначительному количеству коренного городского населения, церквей приходских было достаточно. Жителей городских обоего пола считалось не более 4000; но при этом вдвое больше было пришлого народу – фабричных мастеровых и разного рода рабочих.

Первым смотрителем Шуйского духовного училища был протоиерей Василий Иванович Смирнов, человек почтенный, пользовавшийся общим уважением как духовенства, так и граждан. Где он сам получил высшее образование, я хорошо не знаю, вероятно, в Лаврской Троицкой семинарии; но известно, что он был преподавателем во Владимирской семинарии. Сделавшись смотрителем Шуйского училища, он вместе с тем определен был настоятелем церкви села Васильевского, в 18-ти верстах от г. Шуи; жил он постоянно в Шуе, а в Васильевское для служения ездил только по праздникам. В Васильевском, кроме него, было еще три священника. В должности смотрителя отец протоиерей Смирнов оставался до 1829 года. К нему-то приводила меня матушка на первоначальное испытание.

Инспектором при моем поступлении в училище был священник Троицкой церкви Иван Алексеевич Субботин¹⁰. Невысокого роста, сухощавый, с кудрявыми русыми волосами, лишенный одного глаза, но чрезвычайно дальновзоркий, глубоко религиозный и строгих правил жизни; отличный латинист и вообще основательно образованный человек. Он переведен был в Шую из Переславского духовного училища, где был учителем. В отношении к старшим и неблагонаправленным ученикам был очень строг, но к нам, ученикам первого класса, был отечески снисходителен.

Квартира, на которой я был помещен, считалась одною из лучших городских ученических квартир как по близости к училищу и церкви (вблизи собора), так и по нравственному надзору. Хозяйка квартиры – Александра Ивановна Болотова, девица лет 60-ти, весьма набожная и строгих правил. Грамоты не знала, но совершала весьма продолжительные молитвы каждую ночь. Зимой, в воскресные и праздничные дни, как бы рано заутрениа в соборе ни началась, она по первому удару колокола сама встанет и нас всех разбудит, и отнюдь никому не позволит остаться дома – всех непременно отправит в церковь, а летом бывали такие случаи: найдет ночью гроза с молнией и громом; Александра Ивановна непременно разбудит нас и, зажегши пред иконами свечку, заставит молиться Богу и читать какой-нибудь акафист. Родители, поставляя к ней на квартиру детей, вручали ей небольшую ременную плетку о двух хвостах, чтобы она усмиряла ею резвых и непослушных. Бывало, у печи на гвозде всегда видишь несколько таких орудий казни, и они не оставались без употребления. Вручила ли Александре Ивановне плетку моя матушка, не знаю; но я не помню, чтобы мне случалось когда-нибудь подвергаться наказанию. Правда, на первой или на второй неделе моего поступления на квартиру я, при игре с товарищами в бабки, разбил в окне сеней у задней избы стекло, но этот ненамеренный детский проступок, кажется, на первый раз был мне прощен; а после уже ничего подобного со мною не случалось. Александра Ивановна ко мне, как сироте и хорошему ученику, всегда была добра и особенно внимательна. Бывало, каждую почти субботу она имела обыкновение печь блины; и когда мы собираемся идти в школу, она на ухо шепчет, чтобы я или остался на некоторое время дома, или, прослушавшись в школе у аудитора (аудитор – ученик духовной семинарии, бursы и других учебных заведений, назначенный учителем про-

¹⁰ При открытии училища он читал сочиненную им оду, которая напечатана во «Владимирских епархиальных ведомостях» (1884. № 5. С. 141).

верять задания у сотоварищей. – *Примеч. ред.*), поскорее вернулся на квартиру, где меня ожидали горячие блины. На квартире же нас всегда было не больше 7 или 8 человек; да больше нельзя было и поместить, потому что мы занимали одну только комнату, в которой притом помещалась и сама хозяйка, да и не одна, а со своей вдовою невесткой, женой умершего брата ее. При избе, через сени, была еще одна комната, но холодная. В ней хранились наши сундучки с бельем и другими пожитками. У каждого из нас была своя постель, т. е. войлок, обшитый холстом, и подушка; были ли у кого-нибудь одеяла, не помню, но, кажется, не было; одевались своим платьем. Спали все на полу, и каждый сам для себя приготавливал и убирал свою постель. Стол у нас был общий свой, но капуста для щей, квас и соль были хозяйские; сверх сего еженедельная баня и мытье белья также от хозяйки, и за все это мы платили – сколько бы вы думали? – по 15 рублей ассигнациями (4 рубля 43 копейки серебром) в год. Судя по нынешнему времени, это баснословная дешевизна.

Невестка Александры Ивановны, о которой я упомянул, Аграфена Петровна, была личностью иных качеств и иных правил. Ее занятием была торговля пряниками, орехами и другими лакомствами. Предметы ее торговли составляли для нас немалое искушение. Бывало, в той самой избе, в которой жили мы, она калила на печи свои орехи: нужно было обладать большой силой воли, чтобы не допустить себя до нарушения 8-й заповеди Божией и не прикоснуться рукою к рассыпанному на глазах орешкам. Свободен был для нас доступ и туда, где хранились хозяйские пряники и другие сласти.

Учение началось, без сомнения, молебствием, хотя этого я хорошо не помню. Когда мы собрались в классе, нас – новобранцев – рассадили на скамьях за одним длинным столом по местам. Я не знаю, кто и почему меня посадил на первое место. Может быть, я ранее других явился с матерью к смотрителю и был первым записан у него в список.

Учителем был у нас священник Крестовоздвиженской церкви Яков Иванович Орлов, дальний мне родственник, хотя об этом родстве в то время ни он, вероятно, ни я понятия не имели. Предметами учения были: славянское, русское и латинское чтение, чистописание, начальные правила арифметики и нотное пение. Последнее всегда было после обеда. Поэтому на мне, как на цензоре, лежала обязанность перед классом идти на дом к учителю и спрашивать, пожалует ли он в класс или нет. А так как в эти часы он всегда отдыхал и иногда, после исправления мирских треб, спал очень крепким сном, то домашние не всегда решались и могли его разбудить; а если и пробуждали, то он не всегда чувствовал себя расположенным идти в класс и предоставлял нам одним упражняться в пении. Как бы то ни было, но когда мы преодолели нотную азбуку со всеми мудреными ее вариациями и приступили к разучиванию предначинательного вечернего псалма *Благослови душе моя Господа*, сначала «по солям», как у нас тогда говорили, а потом по тексту, к нам в класс явился – не помню с кем – соборный диакон Чихачев для набора в соборный хор певчих; для сего он начал испытывать голоса всех учеников, начиная с меня. Когда я начал петь означенный псалом своим натуральным, необработанным голосом, экзаменаторы, расхохотавшись, отошли от меня, и я был сконфужен.

Прошла первая учебная треть.

Настал, наконец, вождеденный день отпуска, и я с восторгом полетел домой для свидания с доброй матерью и любящими меня сестрами. Впрочем, сердобольная мать моя, отдавши меня в школу, почти каждую неделю посещала меня, принося с собой сдобные пирожки и лепешки. Но раз великую причинил я ей скорбь. Вскоре по поступлении моем в училище мне приключилась болезнь – желтуха (*Icterus*). Узнавши об этом, матушка, разумеется, поспешила ко мне: но как помочь беде, чем лечить мою болезнь? Не знаю, кто-то ей сказал, что в этой болезни помогает можжучный квас и полезно смотреть на живую щуку. Квас был немедленно приготовлен; купили живую щуку и, положивши ее в глубокое блюдо с водой, заставили меня

на нее смотреть¹¹. Не знаю, от того или от другого из этих двух средств, но моя болезнь, к великому утешению матери, скоро миновала и больше уже не возвращалась.

В праздник Рождества Христова причт Горицкой церкви исстари ходил для славленья по домам в полном своем составе; брали и нас с сыном пономаря. В первый день праздника всегда соблюдался такой обычай: после утрени, которая в этот день начиналась в 11 часов пред полночью и продолжалась часа четыре и даже более, шли в известный дом, в котором священник, возложив на себя епитрахиль, брал в руки крест, и, пропевши в этом доме положенные песнопения, отправлялись все с открытыми головами, как бы ни был велик мороз, в следующий дом, и таким образом, обошедши всю так называемую кривую улицу, состоящую из 20 или 30 дворов, возвращались домой; а затем на рассвете, часов в 8 утра, ударяли в колокол к литургии. После литургии шли на следующую улицу и обходили дома таким же порядком. В некоторых домах предлагаемо было угощение чаем или закуской. Хождение по домам в селе продолжалось не более двух дней; на третий день отправлялись в деревни, коих в Горицком приходе было только две и не в дальнем от села расстоянии; но туда нас, детей, никогда не брали. От хождения по домам мне доставалось рубля два медью, и этот доход я сполна отдавал своей матери.

¹¹ Эти простые средства против желтухи допускаются и медициною. См., напр., сочинение доктора Андреевского «Школа здоровья» (М., 1879. Ч. II. С. 283, 285).

1828 год

7-го января 1828 года скончалась моя бабушка Анна Васильевна, жившая у своего сына, диакона Петра Ивановича.

Покойная бабушка, разумеется, любила наше семейство; но она боялась обнаруживать эту любовь из опасения гнева своей невестки, жены ее сына. Татьяна Ивановна – так звали ее невестку – почему-то не жаловала мою мать.

Бабушка Анна Васильевна имела обыкновение носить при себе медные деньги, вероятно, для подаяния нищим. Однажды летом, гуляя по улице, я забежал на двор дяди, а бабушка сидела в сенях на пороге. Подозвавши меня к себе, она вынула из кармана несколько медных денег и, давши мне в руку, велела скорее уйти со двора, чтобы ее домашние не заметили этого. Денег у меня в руке оказалось, как теперь помню, тринадцать копеек.

Я был очевидцем кончины бабушки, но при погребении ее меня уже не было; меня отвезли в Шую учиться. Но недолго пришлось учиться: недели через три или четыре нас снова распустили по домам на сырную неделю; впрочем, на первой неделе поста для говения велено было возвращаться назад. Для исповеди послали нас, учеников 1-го и 2-го класса приходского училища, к заштатному священнику Троицкой церкви о. Михаилу. Исповедь наша ограничилась только тем, что о. Михаил велел всем нам пасть на пол и, прочитавши над нами разрешительную молитву, отпустил нас домой. Этого и можно было ожидать от о. Михаила, который не отличался ни образованием, ни трезвостью. Его достоинство состояло только в сильном голосе-октаве, который мы слышали по воскресным и праздничным дням в соборе, куда он часто приходил и становился на правом клиросе.

Когда мы после мнимой исповеди большою толпой возвращались домой, наш путь лежал мимо одной фабрики. Фабричные мальчишки, вероятно, в этот час свободные от работы, внезапно напали на нас, как злые амаликитяне на израильтян в пустыне. Мы, маленькие мальчики, бросились бежать и спаслись от побоев бегством; но старшие между нами по летам и более крепкие силами не сробели и вступили с фабричными варварами в битву. Но на чьей стороне осталась победа, не знаю. Так мало было за нами нравственного надзора!..

Скоро промелькнул Великий пост. На Страстную седмицу и Пасху мы опять в родительских домах. Каждый день я в церкви за службой, а службы у нас, особенно на Страстной неделе, весьма продолжительны. В первые три дня прочитываются священником все четыре евангелиста. О том, как встречался у нас светлый день Пасхи, я говорил уже выше. Здесь расскажу, как совершалось у нас хождение по домам со святынею. Между утреней и обедней не было хождения, как это обыкновенно водилось в праздники Рождества Христова. После литургии, которая обыкновенно в этот день начиналась и оканчивалась очень рано, причт расходился на короткое время по домам для отдохновения и обеда. Затем, собравшись опять в церковь, священник возлагал на себя епитрахиль и ризу и брал в руки напрестольный крест, диакон облачался в стихарь и брал Евангелие, дьячок – образ Воскресения Христова, пономарь – братскую кружку (на Рождестве прихожане давали каждому члену порознь, а на Пасхе – всем вместе); сверх сего, два крестьянина, которые обыкновенно прислуживали в церкви и помогали пономарю по праздникам звонить на колокольне, несли впереди запрестольные крест и икону Богоматери и назывались богоносцами. С такою процессией отправлялись из церкви при пении тропаря *Христос воскрес* в приходские дома, и в каждом доме совершался пасхальный молебен с пением пасхальных ирмосов и с чтением воскресного Евангелия *Едиши надесеяте ученицы*. В каждом доме, сверх денежной дачи, на столе приготовлен был хлеб и блюдо с крашеными яйцами. Хлеб обращался в общую пользу причта, а яйца каждый брал из блюда своею рукою: священник – не менее двух яиц, а прочие – по одному. С причтом ходила по домам и моя мать, как просвирня, а при ней и я с корзиною или с чем случилось для собирания яиц.

Светлая неделя в наших селах проходила чрезвычайно весело: с утра до вечера неумолкаемый звон на шести колокольнях в такие большие колокола, о которых я упоминал выше; толпы разряженных крестьян, и в особенности крестьянок, разгуливают по высоким горам и холмам около церквей и на полях, любят широким разливом реки между двумя большими селами. Вся неделя праздновалась как один день.

После Пасхи опять в Шую; но здесь летом стало для нас гораздо веселее, чем было зимой. Наши игры и детские забавы не ограничивались уже хозяйским двором. Бывало, в субботу после обеда, когда классов не было, и в воскресенье старшие ученики пойдут за город в лес или на реку ловить рыбу, возьмут и нас с собою: какое удовольствие, какая радость быть на чистом, вольном воздухе! Но эта радость обращалась иногда и в плач. Узнает начальство о нашей самовольной отлучке за город – старших высечет розгами, да и нам пригрозит.

Зато когда настаивал благословенный май, мы пользовались уже всякого рода увеселениями и прогулками за город законным порядком. 1-го мая, собравшись в школу, кричим, бывало, целым хором: «Ай, ай – пришел месяц май, май». В наше время май месяц почти наполовину проходил в так называемых рекреациях: бывало до десяти и даже более этих рекреаций.

День рекреации проходил у нас обыкновенно в таком порядке. С утра до двух часов полудни играли во всевозможные игры, преимущественно в бабки, на квартирах или на улицах в городе; а в два часа отправлялись за город в какую-либо рощу по указанию начальства, – чаще всего ходили в березовую рощу за село Мельничное, версты две или три от города. Туда за нами тянулись из города целые обозы торговцев с калачами, пряниками, орехами, с моченой грушей и с грушевым квасом. В роще ученики устраивали качели, играли в мяч, в бабки, в горелки, хором пели песни – одним словом, удовольствиям и забавам не было конца. Часа в четыре появлялись туда наши власти и учителя со своими семействами, приглашали с собою и некоторых более значительных граждан. Начальство и гости упражнялись в игре в маршалки (кегли), пили чай, и притом с некоторым приложением: в то время была в большом употреблении французская водка – кизлярка; о роме, кажется, еще не имели понятия; затем десерт, а к вечеру закуска. Необходимую принадлежностью каждой рекреации были сценические представления на открытом воздухе, среди обширной лужайки; при этом из учеников делалась кругом сцены живая ограда. Играли, почти каждый год, комедию Фонвизина «Недоросль» и некоторые другие, коих названия хорошо не знаю. Заранее, конечно, из учеников избирали подходящие к той или другой роли типы.

После целодневных подвигов в разнообразных играх мы не без труда возвращались из рощи домой, иногда довольно поздним вечером, и скоро бросались в постель, забывая и об ужине.

Так проходил май. В июне мы занимались учением с удвоенным уже усердием, хотя субботние и праздничные прогулки за город не прекращались, несмотря на запрещения начальства. В первых числах июля, среди несносной жары и духоты, начинались годовые испытания; около 14-го числа был ежегодно публичный экзамен. К этому торжественному акту были у нас немалые приготовления. Дня за два или за три посылали учеников, освободившихся от частных экзаменов, в поле за цветами и в лес за древесными листьями, преимущественно кленовыми. В каждом почти курсе было по одному или по два ученика, сведущих несколько в рисовании и декоративном искусстве. Эти-то доморожденные художники и принимали на себя заботу приготовить к публичному экзамену довольно большую залу, где, как выше было сказано, помещалось высшее отделение училища. Из кленовых листьев делали они гирлянды и украшали ими кафедру, двери и окна в зале, а из цветов выкладывали на полу перед кафедрой ковер с разными эмблематическими фигурами вроде утренней зари и с латинскою подписью *aurore musis amica*.

Публичные экзамены происходили всегда после обеда. Часа в четыре собиралась училищная корпорация и приглашенная по билетам высшая городская публика. При входе смот-

рителя в залу певчие пели *Царю Небесный*. Затем кто-нибудь из учителей говорил приветственную речь; далее производилось испытание избранных лишь учеников всех классов по разным предметам; между испытанием, для развлечения и увеселения публики, пели концерт, в котором всегда участвовал, с своим сильным басом, соборный диакон Кедров; в заключение читались разрядные списки учеников и раздавались награды – похвальные листы. Это – свидетельство о поведении и успехах того или другого ученика, подписанное смотрителем, с приложением училищной печати и написанное на четверке (это для младших классов) или на полулисте (для старших) с разрисованными полями и с таким же венком сверху, где изображалась птичка или что-нибудь в этом роде. Получить в торжественном собрании такую лестную награду составляло для нас, лучших учеников, верх блаженства. Я каждый год получал такие награды и, принося их домой, доставлял немалое удовольствие матери и сестрам. Все полученные мною похвальные листы долгое время хранились и украшали стены горницы нашего дома и затем куда-то утратились...

По окончании всего певчие пели *Достойно есть*... и учеников отпускали по квартирам...

На следующий день в соборе совершался благодарственный молебен в присутствии всех наставников и учеников, а затем в классах нам раздавали увольнительные билеты. Пообедавши на скорую руку, мы спешили домой, разумеется пешком, – и через три-четыре часа я был уже в объятиях своей матери и сестер.

Как проведена была мною первая вакация после школьных занятий, теперь припомнить не могу, но, по всей вероятности, очень весело и спокойно.

В сентябре мы опять собрались в школу. Переведенные из первого класса во второй, мы встретили здесь и нового наставника, и некоторые новые предметы.

Во втором классе сверх прежних предметов – чтения, чистописания, арифметики и нотного пения – нам стали преподавать краткий катехизис митрополита Платона, русскую и латинскую грамматику и греческое чтение. Скажу нечто курьезное о нотном пении. Наше училище, как сказано было выше, находилось среди базарной площади. По вторникам в Шуе были еженедельные базары. В летнее время окна в наших классах, разумеется, были открыты. Во вторник, после обеда, у нас всегда был класс нотного пения. Когда, бывало, затянем в тридцать или сорок голосов какой-нибудь догматик или ирмос, деревенские бабы со всех ног бегут к нашим окнам посмотреть, что тут делается, и когда услышат, что мы поем что-то церковное и божественное, а не мирские песни, приходят в умиление и начинают класть на окна – кто калачик, кто крендель, а иная копеечку или грошик.

Из моей домашней жизни во время учения моего во втором приходском классе живо сохранилось в моей памяти следующее обстоятельство. Нам в летние жары дозволено было купаться в реке, но не иначе, как под наблюдением наставников. Для сего в определенный час мы должны были собираться в квартиру учителя и все вместе идти на реку. Раз Константин Николаевич повел нас купаться в Тезе. Когда он и мы разделись и вошли в реку, он взял меня, как любимого ученика, на руки и пошел со мною в глубь реки. Может быть, он хотел научить меня плавать; но мне показалось, что он хотел меня утопить: я закричал изо всей мочи и вцепился ему в лицо ногтями, забывши о том, что он мой учитель. Кончилось, разумеется, тем, что он должен был возвратиться со мною к берегу, и я с тех пор боялся купаться с учителем.

Кстати, о купании. Не научившись еще плавать, я вздумал раз, во время вакации, дома пойти на реку один и выкупаться. Не зная местности, я пошел в воду и тотчас же по отлогому песчаному дну реки с ужасом очутился под водою и, обратившись лицом к берегу, начал барахтаться руками, но не мог сделать по песчаному дну реки ни одного шага вперед. Тут-то я почувствовал беду. Между тем вдруг какая-то непостижимая сила выдвинула меня сзади из воды, и я очутился у берега. Озираясь кругом, я не заметил около себя никого.

Второй год учения почти незаметно прошел для меня. Нас перевели в июле в низшее отделение уездного училища. Переход этот был довольно ощутителен для нас. В низшем отде-

лении и время занятий в классе было продолжительнее (вместо трех часов мы должны были высиживать до обеда уже четыре часа), и предметы занятий были многочисленнее и труднее, и вместо одного у нас было уже два наставника.

1829 год

В низшем отделении, равно как и в высшем, курс полагался двухгодичный; но мне пришлось просидеть в низшем отделении три года, так как я попал сюда не в курсовой год. Поэтому все поступившие ученики назывались в течение года «младшими» учениками, и им преподавались предметы особо.

Предметы же преподавания были следующие: русская и славянская грамматика, арифметика, пространный катехизис, церковный устав, латинская и греческая грамматика и церковное обиходное пение.

Кем были составлены наши учебники, нам не было известно, и мы об этом даже не любопытствовали. Нам известно было только о катехизисе, что он написан был Московским митрополитом Платоном. Впрочем, мы недолго его твердили; нам в 1829-м году прислали для изучения новый катехизис, составленный Московским же митрополитом Филаретом и напечатанный в 1827 году славянскими буквами. У меня и теперь сохраняется экземпляр этого издания, которое впоследствии (в 1839 году) исправлено и значительно дополнено некоторыми новыми трактатами, как, например, о Священном Предании и евангельских блаженствах. Изучение Филаретова катехизиса нам показалось легче и приятнее, чем Платонова; последний написан был довольно тяжелым слогом.

1830 год

1830-й год был роковым годом в моей жизни. 14-го марта, в пятницу на четвертой неделе Великого поста, скончалась моя мать Стефанида Ивановна вследствие продолжительной восьмимесячной болезни. А ее болезнь была последствием ее чрезмерной материнской любви ко мне. Матушка почти каждую неделю, как было уже замечено, посещала меня в Шуе. 7-го июля 1829 года она, по обычаю, пришла ко мне и, переночевав на моей квартире, на другой день – это был вторник, базарный день в городе, – должна была отправиться домой. Спутницей ее на этот раз была тетка Татьяна Васильевна – вдова, о которой мною было уже упомянуто. День был очень жаркий. Обе они верхнее свое платье и даже обувь отдали знакомому крестьянину свезти домой, а сами пошли пешком босые.

Вдруг среди пути застигает их грозная туча с градом, на несколько верст покрывшим землю; и они, бедные, промокшие до костей, должны были, босые, идти по земле, покрытой градом. Старушка – Татьяна Васильевна – была крепкого здоровья и без особых последствий перенесла это опасное путешествие; но моя мать, не отличавшаяся крепким телосложением, не вынесла такого путешествия, слегла в постель и более уже не вставала с одра болезни. Дня за два до ее смерти меня вызвали из Шуи, и я был свидетелем ее мирной, тихой кончины. 14-го марта, в день празднования Феодоровской иконы Божией Матери, мы с зятем ходили к утрени в церковь помолиться о болящей, но наша усердная молитва не отвратила рокового часа ее смерти.

После утрени к постели умирающей собрались ближайшие родные, в том числе и ее брат, а мой отец крестный диакон Петр Иванович. Матушка спросила старинную икону святителя Николая Можайского и, благословивши меня ею, обратилась к Петру Ивановичу с следующими, до сих пор звучащими в моих ушах, словами: «Батюшка братец, не оставь моего Иванушку...» И это были ее последние слова на земле. Тут же она закрыла глаза, и ее душа мирно оставила ее изнуренное столь продолжительною болезнью тело. Затем, естественно, последовал горький плач трех совершенно осиротевших существ, оставшихся без всяких почти средств к жизни. На другой день кончины матушки, 15-го числа, мне исполнилось лишь 11 лет от рождения, – и с 12-летнего возраста я начал вести совершенно странническую жизнь.

Пока тело усопшей находилось еще в доме, мне не верилось, что мать моя умерла; но когда вынесли ее из дому, совершали над нею отпевание и опускали гроб в могилу, я почувствовал тяжесть лишения столь дорогого для меня сокровища и предался неутешному плачу.

На другой или на третий день после погребения я должен был опять возвратиться в школу. Но через две недели нас отпустили по домам на Страстную и Светлую седмицы. Вместе с товарищами и я отправился домой, разумеется, пешком. Путь из Шуи в Горицы лежал через Дунилово. Из Дунилова, вместо того чтобы идти в Горицы через мост, я для сокращения пути вздумал пройти от Покровской церкви прямо к нашему дому через реку по льду. К счастью, кто-то увидел меня из родных и громко закричал мне с противоположного берега реки, чтоб я не шел по льду и возвратился бы назад. Не будь этого предостережения, я непременно утонул бы в реке, так как посредине реки был слишком уже тонок лед, и всякое сообщение через реку было прекращено. Нельзя посему не видеть и в этом обстоятельстве явного действия Божественного о мне Промысла.

Прихожу домой. Сестра встретила меня с радостными слезами; но я не встретил уже в доме того, что встречал прежде, – женских ласк матери. Дом показался мне какою-то холодной и мрачной пустыней. Не так радостен был для меня на этот раз и светлый праздник Христов.

Миновали праздники, и – я опять в Шуе.

Сестры мои недолго оставались в своем доме; старшая сестра Прасковья в июне того же года вышла замуж, в Хотимльский приход, за крестьянина деревни Погорелки Павла Ефимо-

вича Лыкова, а младшая Анна перешла жить на Пустыньку к старшей сестре Марье Михайловне. В доме же, который по наследству принадлежал мне, поселился наш двоюродный дядя, упомянутый выше дьячок Покровской, в Дунилове, церкви Платон Алексеевич, который по случаю пожара лишился своего дома и который затем купил мой дом за 150 рублей ассигнациями (43 рубля серебром) и перенес на место своего сгоревшего дома. Деньги же за мой дом, вносимые им по частям, хранились сначала у благочинного, а потом переданы были на хранение моему дяде Петру Ивановичу, как опекуну. Кроме дома, мне достался после матушки в наследство ее жемчужный кокошник, в который она наряжалась в великие праздники и в котором ходила по церкви с тарелкой для сбора подаваний; а после родителя сохранились для меня две одежды: овчинный тулуп и сюртук или, по тогдашнему названию, сибирка из толстого синего сукна. Мне же принадлежало несколько оловянных блюд и тарелок; но кроме дома и тулупа, все прочие вещи я отдал в распоряжение старшей сестры, которая заменила для меня мать и которой я обязан дальнейшим воспитанием.

По случаю появления в пределах Владимирской губернии губительной болезни – холеры, нас отпустили на вакацию раньше обыкновенного – кажется, 8-го июля.

Подходя к Дунилову, я рассуждал сам с собою, куда мне наперед идти: в Горицы ли, к дяде и отцу крестному, или на Пустыньку, к сестре Марии Михайловне? Я решил идти на первый раз прежде в Горицы, куда сильно влекла меня любовь к родине; но я встретил здесь не очень ласковый прием. Жена дяди, Татьяна Ивановна, не отличавшаяся вообще нежным сердцем, смотрела на меня не очень благоприятно по той, как мне думалось всегда, причине, что я – сирота – учился лучше ее сына и всегда приходил домой с наградами, которые каждый раз возбуждали в ней неудовольствие. Но я, пробывши дня два-три в Горицах, спешил потом на Пустыньку, где сестра и зять встречали меня с любовью, но где стесняла и тяготила меня их семейная скудость и почти нищета. Впрочем, на воскресные и праздничные дни я всегда возвращался в Горицы, куда привлекал меня родной благолепный храм и с детства знакомое общество молящихся. Таким образом, во все время вакации я вел скитальческую жизнь, и это продолжалось до самого окончания мною курса семинарии; только впоследствии я имел уже больше мест для своего пристанища.

Чтобы не быть в тягость другим и не быть тунеядцем, я старался и почти обязан был зарабатывать для себя насущный хлеб теми или другими трудами. В Горицах я помогал двоюродным сестрам, занимавшимся тканьем красной пестряди, в их ремесле, приготовлением для них цевок и т. п.; на Пустыньке я разделял с зятем и сестрой их земледельческие труды: жал хлеб, возил с поля на гумно снопы, молотил и проч. Но эти труды и занятия наводили на меня истинную тоску, хотя я должен был скрывать ее. Мои душевные стремления все направлены были к чтению книг и списыванию стихов и литературных статей.

В первых числах августа оканчивался срок наших каникул, и я начал уже помышлять о возвращении в школу. Вдруг получается от благочинного повестка, чтобы мы оставались дома, пока нас не потребуют. Как ни тягостно было мое положение у родных, но я обрадовался этой отсрочке, потому что имел возможность провести среди родных два храмовых праздника – Рождества Пресвятой Богородицы и Покрова. Первый праздник был в Горицах, а второй – в Дунилове.

Холера в наших селах действовала довольно сильно. Жертвами ее сделались некоторые и из моих родных, как, например, помянутая выше бабушка моя Татьяна Васильевна и ее невестка, жена Платона Алексеевича, который купил мой дом. Но что замечательно! Из детей никто не умирал от холеры. Причиной этого явления можно полагать, как мне кажется, спокойное и беззаботное состояние детского духа, между тем как душевное расстройство и упадок духа возрастных служили одною из причин усиления смертности. К нашему детскому удовольствию, в ту осень был обильный урожай грибов, и мы каждый день раза по два и по три ходили за ними в лес, который со всех почти сторон окружал тогда наши села.

1831 год

Настал 1831 год. В июне или в августе этого года выдана была в замужество моя последняя сестра – Анна Михайловна, в село Кохму, за крестьянина Ивана Ивановича Чужинина. На меня пал жребий перевозить, вместе с одним из родственников жениха, имущество (приданое) сестры из Дунилова в Кохму, и затем я был в числе почетных гостей на брачном пиру.

1831 год был неурожайный; вследствие сего цена на хлеб с пятиалтынного возросла до полтинника (1 рубля 75 копеек) – цена небывалая. Многие из учеников, особенно дети причетников, бедствовали и едва не претерпевали голод. На помощь этому бедствию явился один из богатых шуйских купцов (он, кажется, скрыл свое имя). Он открыл бедным ученикам даровой доступ в одну мучную лавку, из которой, по запискам от инспектора училища, выдавали каждому по пуду, помнится, на месяц или на два, а иным, более надежным, ученикам вместо муки выдавали деньгами; помню, я получил от инспектора серебряный полтинник.

Кстати о благотворительности шуйского купечества.

Некоторые из богатых шуйских купцов имели добрый обычай еженедельно в известные дни, преимущественно воскресные, раздавать нищим милостыню деньгами или разными вещественными предметами. Это происходило таким образом. В известный час всех собравшихся к дому того или другого богача впускали на двор и запирали ворота. Затем выходил сам хозяин или приказчик и становился у калитки с деньгами или вещами вроде, например, валяных сапогов (в зимнее время), шерстяных чулок и варежек. Нищие поочередно подходили к раздавателю и, получив такую или иную милостыню, выходили со двора в калитку; и эта раздача, смотря по количеству нищих, продолжалась иногда по несколько часов. Василий Максимыч Киселев часто сам раздавал милостыню, и всегда денежную; и так как он характера был довольно грубого и сурового, то даст, бывало, нищему в руку пятак и в затылок толчок. Между нищими бывали и бедные ученики духовного училища. Но для этих последних существовала в Шуе особого рода благотворительность. Некоторые благочестивые купцы устраивали для них раз в год, в определенные или неопределенные дни, обеды из трех или четырех блюд. Недалеко от училища жил купец П. А. Волков; у него каждый год, вскоре после Пасхи, устраивался для всех учеников на широком дворе, под открытым небом, обед. Необходимую принадлежностью этого обеда было то, чтобы как перед обедом, так и после обеда ученики громогласно пели известные церковные песнопения. В заключение обеда каждому ученику давалось в руки по пятаку меди. Однажды мы обедали в доме (это было зимой) купца Корнилова; но там после обеда вместо денег нам раздали по несколько аршин полосатой затрапезной материи для халатов. А один подгородный помещик (из чиновников), Ив. Арт. Соколов, после обеда награждал нас синею писчею бумагою и гусяными перьями (о стальных перьях тогда и в помине еще не было).



Крестовоздвиженская улица, г. Шуя

Скажу здесь о себе нечто недоброе. Между товарищами моими по школе, как старшими, так и младшими даже, было немало курящих и особенно нюхающих табак. Пример обыкновенно заразителен. У меня не было расположения к курению табака, самый запах его возбуждал во мне отвращение; но к нюханию табака добрые товарищи стали было меня приучать; не помню, кто-то подарил мне даже табакерку с табаком. Прошло не более, я думаю, недели или двух, как об этом проведала моя добрая и радетьельная обо мне хозяйка Александра Ивановна. Вероятно, она имела обыкновение по ночам осматривать наши карманы в жилетах, чтобы видеть, не скрывается ли в них чего-нибудь подозрительного. Нашедши при этих поисках в моем кармане табакерку, она взяла ее, и на другой день, когда я встал с постели, она, показывая мне табакерку, держала ко мне такую грозную речь: «Что это такое у тебя завелось? Что это ты вздумал делать? Вот приедет во вторник твой крестный, вот я ему покажу это; он даст тебе нюхать табак».

Этот упрек доброй Александры Ивановны и эта угроза жалобой на меня дяде и крестному так сильно подействовали на меня, что я решительно перестал нюхать табак и никогда более не начинал.

Александра Ивановна знала, чем пригрозить мне. Действительно, я никого так не боялся, как своего дяди и отца крестного Петра Иваныча, хотя он ни разу пальцем до меня не дотрагивался. Он имел на меня какое-то особенное нравственное влияние. Табаку он терпеть не мог, хотя его сын, окончивший в это время курс семинарии, тайком позволял себе это удовольствие.

При счастливой памяти, мне немного требовалось времени для приготовления уроков к классу; поэтому немало оставалось у меня свободного времени. Чем же наполнялось это время? Частью чтением книг, большею частью сказок, за неимением других, лучших произведений литературы, частью списыванием стихов, песен и других статей. У меня до сих пор сохранилась тетрадь в три с половиною листа синей бумаги, вероятно, полученной мною от помянутого выше помещика Соколова. На этой тетради очень тщательно переписан мною «Catalogus vocabulorum usitatorum vernacule redditorum, т. е. список слов употребительнейших с российским переводом».

Этот список разделен на 25 глав. В первой главе содержатся слова (vocabula) «о Божестве и до закона касающихся вещах»; во второй — «о вселенной, частях света и ветрах» и так далее. В последней главе — «о числительных именах». Подлинник, с которого я списывал, большею частью по ночам, когда все ложились спать, принадлежал товарищу моему Александру Минервину, сыну помянутого выше соборного священника о. Петра Яковлевского.

Приближалось время перехода в высшее отделение. Разные тетрадки и записки по учебным предметам низшего отделения, тщательно мною веденные, оказывались более не нужными для меня. Зная об этом, жена инспектора, Авдотья Ивановна, пожелала приобрести от меня эти записки для своего сына Павла Певницкого, который шел ниже меня курсом. Я не мог, конечно, отказать в требовании своей начальнице. Она взяла мои записки и заплатила за них 50 копеек серебром.

1832 год

Около 1832 года дядя мой Петр Иваныч выстроил новый деревянный дом на месте своего старого и моего проданного дома. Дом довольно просторный и очень красивый, с двумя комнатами – залом и гостиной впереди и, через коридор, с кухней сзади, а наверху мезонин с окнами, обращенными к реке и к селу Дунилову. Летом я очень любил уединяться в этот мезонин для наслаждения красивыми видами природы и для чтения какой-нибудь книжки. Чтением книг на глазах у тетки Татьяны Ивановны я не мог заниматься спокойно: как неграмотная и не понимавшая ни пользы, ни удовольствия от чтения книг, она почти с отвращением смотрела на мои книжные занятия, хотя в зимние вечера, под воскресные и праздничные дни, когда дядя заставлял меня вслух читать Четьи-Минеи святого Димитрия Ростовского, не без удовольствия слушала мое чтение и она.

В сентябре 1832 года я был уже учеником высшего отделения и назначен был цензором класса и квартирным старшим. Обязанность цензора состояла в наблюдении за порядком в классе, а должность старшего заключалась в посещении ученических квартир с целью наблюдения за благоповедением учеников и исправным приготовлением заданных уроков, о чем и делались старшим отметки в квартирном журнале; в случае же каких-либо важных беспорядков старший обязан был доносить о них инспектору немедленно.

К прежним учебным предметам в высшем отделении присоединились новые, как то: священная история и география. Кем была составлена история, не знаю; но география была К. Арсеньева. Она с нашего курса заменила прежнюю, неизвестно кем составленную. Для переводов с латинского языка на русский был у нас Корнелий Непот, а с греческого – та же хрестоматия Каченовского. В часы послеобеденные мы упражнялись обыкновенно в переводах с русского на латинский и греческий языки, и только один класс назначен был для нотного пения.

1833 год

В 1833 году я взят был в певческий хор купца Киселева и пел тенором, хотя голос у меня был не очень завидный. Эта новая профессия доставляла мне некоторые выгоды: я получал и одежду, и небольшое денежное жалованье; сверх того, имел доступ в богатые купеческие дома, где видел всякого рода роскошь и, следовательно, более или менее изощрял свой эстетический вкус. Но, с другой стороны, немало видел и худых примеров.

1834 год

В начале 1834 года один молодой, лет 15-ти, еврей расположился принять христианскую веру. Епархиальное начальство поручило нашему смотрителю, хорошо знавшему еврейский язык, приготовить этого еврея и окрестить. Отец смотритель, занимаясь с евреем катехизическими беседами, мне поручил научить его славянскому чтению. Юноша-еврей в продолжение нескольких недель приходил к нам в класс и, садясь рядом со мною, читал под моим руководством славянскую Псалтирь. В день Благовещения совершено было над ним торжественное крещение в соборной церкви и о. Василием сказана была при этом случае речь, которую я переписывал набело. Восприемниками при крещении были богатые люди, которые доставили своему крестнику возможность заниматься торговыми делами. Но я своего ученика после крещения не встречал уже ни разу. Подобного события в Шуе я не только не видал прежде, но и не слышал никогда.

Страстную и Светлую недели, равно как и предшествовавшие рождественские праздники, я проводил в Шуе по обязанности певчего. Но я не испытал здесь в эти великие и торжественные праздники тех радостных чувств, какие каждый раз испытывал на своей родине, в своем родном храме. На сырную неделю отправился я на родину; там провел и первую неделю поста. На это время нам был дан инспектором урок, велено было перевести с греческого языка на русский Слово святого Иоанна Златоуста на память святого мученика Варлаама. Этим важным делом я, помню, занимался на Пустыньке, у сестры Марьи Михайловны, в тесной и холодной избе, где и куры бродили, куда поутру и корову вводили для доения... Для облегчения себя в учено-филологическом труде я пользовался славянским переводом того же слова, помещенным в Четвѣй-Минее святого Димитрия Ростовского; а эту книгу зять принес мне из библиотеки Покровской дуниловской церкви.

Приближалось время окончания училищного курса. Вдруг между нами распространяется слух о приезде из Владимира какого-то ревизора, о чем прежде в Шуе и понятия не имели. Наконец узнаем, что для производства ревизии едет инспектор семинарии, магистр, иеромонах Израиль. Смотритель Василий Яковлевич, получив известие о приближении к городу ревизора, поспешил к нему навстречу на паре отличных лошадей купца Посылина, в фаэтоне. И вот, через несколько часов, мы видим из окон своей квартиры едущего со смотрителем грозного ревизора. Ревизор остановился в доме смотрителя.

На другой день ревизор в сопровождении смотрителя пожаловал в наше высшее отделение. Мы увидели перед собою молодого иеромонаха с магистерским крестом на золотой цепочке, невысокого роста, со светло-русскими волосами на голове и бороде, с живыми глазами и громким тенористым голосом. По прочтении молитвы и по пропетии обычного в то время *Salutamus* ревизор сел в кресло, пригласив сесть и смотрителя, но учителей не удостоил этой чести: они стояли, прислонившись к партам. С чего начался устный экзамен, не помню; но помню, что в тот же самый день, или на следующий, ревизор дал нам письменную задачу для перевода с русского языка на латинский, рассчитывая, разумеется, по этому письменному опыту составить верное понятие о степени наших успехов в знании латинского языка. Но его расчет не мог быть верен. Ревизор поручил учителю низшего отделения, священнику Я. И. Холуйскому, принимать от нас написанные задачи, между тем сам занимался производством устных испытаний. Я скорее прочих написал задачу и подал ее отцу Холуйскому. Он, прочитавши мою задачу и увидевши, что она написана удовлетворительно, взял ее в левую руку и, стоя у парты лицом к ревизору, поднял ее несколько выше своего левого плеча и дал знак некоторым близ сидевшим ученикам, чтоб они смотрели в мою тетрадь и сами списывали, и товарищам передавали. Таким образом, у всех почти учеников задача вышла весьма удовлетворительная. И эта хитрость отца Холуйского осталась незамеченною ревизором.

Сколько дней продолжались частные испытания, хорошо не помню; помню только, что ревизор после обеда, по причине июльской жары, приходил к нам в класс не ранее 4-х часов и оставался часов до 8-ми.

Наконец назначен был день для публичного экзамена. Приготовления к этому торжественному дню были те же самые, какие мною описаны выше; но публики на этот раз было больше, чем в прежние годы. На публичный экзамен прибыл и старец – соборный протоиерей Никитский, которому отец ревизор предоставил занять первенствующее место. Был на этом торжестве и один из упомянутых мною выше братьев Соловьевых, студент Московской духовной академии, Михаил Михайлович. Ему, не помню кто – ревизор или смотритель, предложил испытать меня в знании греческого языка, и он заставил меня переводить первые стихи из Евангелия от Иоанна. Важную особенность настоящего публичного экзамена составляло то, что нам, лучшим ученикам, вместо прежних похвальных листов дали в награду книги. Я получил даже две книги, с подписью ревизора и смотрителя: латино-русский лексикон Целлария и еще какую-то книжку. Эта двойная награда мне дана за успехи в науках и, может быть, за безмездные труды по письмоводству. С ревизором приезжал в Шую письмоводитель семинарского правления Рунов; но он не мог один справиться с официальной перепискою, так как кроме других бумаг нужно было для каждого переведенного в семинарию ученика написать свидетельство. Поэтому я назначен был ему в помощь.

Итак, с Божией помощью я благополучно совершил семилетнее поприще начального учения. Затем мне предстояло вступить на путь высшего семинарского образования.

Я должен был отправиться в дальний путь – в древний град Владимир, куда призывали меня новые учебные обязанности. Меня повез туда на своем коне, в простой русской телеге, зять мой, Василий Александрович.

По приезде во Владимир я тотчас же подал в семинарское правление прошение о принятии меня, как круглого сироты, в бурсу на полное казенное содержание; но пока рассматривалась моя просьба наряду с множеством других подобных просьб, я должен был жить на квартире.

Когда собрались переведенные из училищ в семинарию ученики, начались приемные экзамены; но мы, ученики Шуйского училища, как уже истязанные ревизором, были свободны от нового испытания. По окончании приемных экзаменов нас распределили по трем отделениям. Наше Шуйское училище почти в полном составе учеников назначено было во 2-е отделение риторического класса.

К концу курса нам преподаны были правила поэзии, или стихотворчества, и нас заставляли самих писать стихи. Некоторые из моих товарищей писали, и очень изрядные рифмованные стихи. Я не имел этого дара. Мне удалось написать только два стихотворения, и притом так называемыми белыми стихами, т. е. без рифм. Одно стихотворение, помню, было написано на тему «Потоп». Зато во мне возбуждена была сильная охота к чтению и заучиванию наизусть стихотворных произведений известных тогда русских поэтов, как то Державина, Жуковского, Баратынского, Пушкина, Рыльева, Козлова, Ф. Глинки, Байрона (в русском переводе) и др. У меня и теперь сохраняется несколько рукописных сборников разных стихотворений.

Немало также прочитано и сделано мною выписок из сочинений прозаических разных авторов. Хранятся у меня и эти выписки.

Недолго пришлось мне жить на квартире: в конце сентября (1834 г.) я принят был в бурсу на казенное содержание и помещен в 4-м номере. Инспектор, о. Израиль, поручил меня особому попечению комнатного старшего.

Бурса помещалась за речкою Лыбедью, в довольно большом деревянном, с антресолями, доме. При нем был еще один небольшой деревянный флигель. При доме довольно обширный сад с липовою тенистою аллеєю и несколькими фруктовыми деревьями. В бурсе нас было около 120 человек. Содержание пищею было довольно удовлетворительно. Одежда летняя: нанковый

серенький сюртучок с такими же брюками и жилетом и нанковый же голубой халат; зимняя: овчинный тулуп, покрытый такою же, как на халате, нанкою; сапогов выдавалось пары две с половиною; о калошах не было тогда и в помине. Белья носильного и постельного выдавалось довольно достаточно. На полное годовое содержание каждого воспитанника отпускалось из казны, как я слышал, не более 30 рублей серебром.

Жизнь наша в бурсе располагалась, разумеется, по звонкам; но так как не было над нами ближайшего начальственного надзора, то и не было строгого соблюдения узаконенных порядков, по крайней мере, относительно учебных занятий. Должно заметить, что наряду с ленивыми и бездарными учениками было в каждом классе немало учеников даровитых и весьма прилежных, с любовью занимавшихся науками. Поэтому одни из этих последних любили заниматься чтением книг или сочинениями долго с вечера, иногда далеко за полночь, другие имели привычку очень рано вставать с теми же научными целями. Я принадлежал к числу последних. Бывало, для того, чтобы написать какой-нибудь период или хрию (*греч.* речь, рассуждение, составленное по заданным правилам. – *Примеч. ред.*), я вставал с постели часа в два-три пополуночи. К сожалению, опыты этих полуночных произведений моего юношеского пера не сохранились у меня; я отдал их, по переходе в среднее отделение, одному из знакомых учеников, младшему меня по курсу, для образца и обратно не получил.

На учениках словесности, по заведенному исстари обычаю, лежала повинность облегчать письменные труды старших учеников-богословов. Не миновала и меня эта повинность, тем более что я писал лучше многих моих сверстников. Но я служил переписчиком не только для старших учеников, но и для наставников.

В первой половине октября (1834 года) во Владимире совершилось очень важное событие. Город осчастливлен был посещением государя императора Николая Павловича. Его величество прибыл во Владимир 11-го числа вечером, а 12-го утром посетил кафедральный Успенский собор. Я вместе с товарищами поспешил насладиться, в первый раз в жизни, лицезрением царя; но – уввы! – вместо царя я засмотрелся на губернатора, украшенного Аннинскою лентою, воображая, что это именно государь, между тем как государь был в простой генеральской шинели; а губернатором в то время был у нас С. Т. Ланской, впоследствии сенатор. К моему счастью, на другой день, 13-го числа, после литургии в церкви богоугодных заведений, государь снова изволил посетить собор, и тут-то я уже вполне насладился лицезрением великого самодержца.

1835 год

Незаметно прошла первая, самая трудная для меня учебная треть. Перед Рождественскими праздниками, кроме частных экзаменов, были у нас в зале богословского класса, как более других просторной, общие собрания наставников и учеников, недавно заведенные ректором Неофитом. На этих собраниях лучшие ученики старших классов читали с кафедры свои сочинения, одобренные к произнесению ректором, а ученики низшего отделения читали пред кафедрою наизусть латинские речи и русские стихотворения. Мне на первый раз довелось читать в собрании латинскую речь Цицерона: *Quousque tandem Catilina abuteris patientia nostra et caet...* Подобные чтения служили немалым поощрением для учеников к занятиям в сочинениях.

На праздник Рождества Христова я по необходимости должен был остаться во Владимире, так как пешком идти на родину более 100 верст в холодную пору было неудобно, а нанять подводу не было средств. В воскресные и праздничные дни к богослужению мы ходили обыкновенно в ближайшую приходскую церковь – Воскресенскую, где более способные из нас читали и пели на клиросах.

В бурсе же затем провел я сырную неделю и Пасху.

В праздничные дни и вообще в часы, свободные от занятий, не возбранялось ученикам семинарии заниматься музыкою и пением. Некоторые из учеников хорошо играли на гусях, на скрипке, флейте и кларнете. Я помню хороших игроков на гусях Астудина и Никольского (впоследствии поступившего в монашество в Московский Покровский монастырь с именем Пимена). Пытался было и я учиться играть на гусях, но недостало терпения. Вообще, ни к музыке, ни к поэзии у меня не было призвания.

Между учениками бурсы немало было с хорошими и сильными голосами; поэтому нередко можно было слышать в наших стенах веселое и громкое пение. Изредка, по вечерам, тайком происходили у нас и сценические представления. Но все это было только в первые два года моего пребывания в бурсе; с выходом из семинарии старших учеников все эти более или менее благородные увеселения стали мало-помалу исчезать и заменяться другими, более грубыми забавами, как то: игрою в карты, в шашки, а летом в кегли и городки. Бывали нередко и случаи нетрезвости.

Наступил май. В семинарии, так же как и в училищах, продолжались еще в наше время так называемые рекреации, хотя они происходили далеко уже не в таком виде, в каком они были при прежнем ректоре, архимандрите Павле. Теперь не было уже того хождения целою тысячною толпой на архиерейский двор и громогласного пения на латинском диалекте, коим приветствовали владыку, когда он появлялся у окна своих покоев, просили у него рекреации и затем благодарили; но в известный день, избранный семинарским начальством, приходил в классы инспектор и объявлял нам о рекреации, иногда для нас совершенно неожиданно. Бывали в этот день прогулки и за город, в Марьину рошу; но там не было уже таких собраний гостей, какие бывали в прежние времена; при нас не было ни разу посещения рощи ни преосвященным, ни губернатором; даже не всегда приезжал и ректор. Являлись только некоторые из молодых наставников и разве еще иногда инспектор для наблюдения за порядком. О том, как происходили рекреации во Владимирской семинарии в прежнее время, подробные сведения заключаются в «Воспоминаниях П. С. А.», помещенных во *Владимирских епархиальных ведомостях* за 1875 год, № 12, с. 590–596.

21-го мая во Владимире ежегодно совершается великое церковное торжество. В этот день приносится в город из Боголюбова монастыря древняя чудотворная икона Боголюбской Божией Матери. К этому времени стекаются десятки тысяч богомольцев из разных мест.

Крестный ход с иконою Боголюбской Божией Матери учрежден, по ходатайству владимирских граждан, в 1772 году в память избавления города от чумы, занесенной сюда в 1771 году из Москвы.

Около 15-го числа июля, по окончании частных испытаний, ежегодно был публичный экзамен. К этому экзамену всегда были такие же приготовления в семинарии, как и описанные мною выше в Шуйском училище, т. е. заготавливались древесные листья и разного рода цветы и ими украшалась обширная богословская зала, только с большим, разумеется, вкусом и изяществом, – и сверх сего по стенам развешивались царские портреты, не знаю, откуда приносимые. В назначенный час собиралась в зал избранная городская публика, начиная с губернатора. Когда входил в нее архипастырь, встреченный у парадного крыльца семинарскою корпорацией, два хора певчих – архиерейский и семинарский – пели *Царю Небесный*. Один из учеников богословия произносил перед публикой приветственную речь. Затем производилось испытание учеников, заранее назначенных, по разным предметам. Испытание прерывалось пением концертов. После испытания раздавались архиереем лучшим ученикам награды книгами. Мне досталась на первый раз книга «Правила пиитические» А. Байбакова¹². Затем другим учеником богословия произносилась благодарственная речь. Торжественный акт заканчивался пением *Достойно есть*. Затем почетные посетители приглашались к ректору на чай и закуску.

После частных испытаний и публичного экзамена 8 человек из учеников высшего отделения назначены были в академии – Петербургскую и Киевскую – по четыре в ту и другую.

На другой день публичного экзамена, после благодарственного молебна, отправляемого обыкновенно ректором, нас отпускали в дома родителей и родственников.

Как проведена была мною на родине первая семинарская вакация, хорошо не помню. Разумеется, все время прошло в переселениях с одного места на другое, от одних родственников к другим.

Возвратившись в первых числах сентября во Владимир, я продолжал с усердием заниматься исполнением своих школьных обязанностей, и с особенною любовью – чтением книг и выписками из них. К нашему великому счастью, около этого времени открыта была во Владимире публичная библиотека, куда не возбранен был доступ и для нас, школьников. Беда только та, что часы, в которые открыта была библиотека, совпадали с нашими учебными часами. Сидишь, бывало, в классе, а мыслию и сердцем стремишься к библиотеке, чтоб почитать там новую какую-либо книжку или новый журнал. Искушение это так иногда было сильно, что, несмотря на опасение подвергнуться штрафу, оставляешь класс, особенно по какому-нибудь второстепенному предмету вроде гражданской истории или греческого языка, и бежишь в библиотеку, остерегаясь только, чтобы дорогою не попасть на глаза ректору или инспектору.

¹² Книга эта с 1774 по 1826 год выдержала 10 изданий. См.: Роспись книг библиотеки А. Смирдина. № 6067.

1836 год

Наступил обычной чередой 1836 год.

С ревностью занимаясь науками, я старался избегать всяких лишних знакомств и никому не навязывался с своею дружбой; между тем моей дружбы многие из товарищей как в бурсе, так и вне ее заискивали. Некоторым из этих искателей, как нравившимся мне своим умом и добрыми качествами, я отвечал взаимною дружбою и доверием; прочих старался только не огорчать своею холодностью и невниманием. Между прочим, завел со мною знакомство ученик 1-го низшего отделения Александр Рождественский, сын эконома архиерейского дома, игумена Космина монастыря Амвросия (из вдовых священников). Рождественский жил в архиерейском монастыре и нередко приглашал меня к себе пить чай; давал мне из библиотеки своего отца для чтения книги. Однажды он дал мне в отличном сафьяновом переплете книгу «Освобожденный Иерусалим» *Tassa* в русском переводе¹³. Только лишь я пришел с этой книгой в бурсу и положил ее перед собою на столе, чтобы, выучивши заданный урок, сейчас же приняться за ее чтение, как вдруг приезжает ректор семинарии, и не один, а с ректором Владимирского училища протоиереем И. П. Остроумовым – магистром, отличавшимся необыкновенно быстрым взглядом и пылким характером. Ректор семинарии прошел чрез нашу комнату, не заметив или не обратив внимания на мою книгу; но отец Остроумов, шедший позади его, увидав эту книгу и быстро развернув ее, закричал во все горло: «Отец ректор, посмотрите, какие книги читают Ваши ученики». Ректор, возвратившись на этот крик из соседней комнаты и посмотревши мою книгу, не сделал никакого замечания; по всей вероятности, он видел ее так же, как и я, в первый раз в жизни и не знал ее содержания. Но, по русской пословице, что запрещено, то подслащено; и потому я с тем большим любопытством начал в тот же вечер читать осужденную протоиереем Остроумовым книгу.

В марте 1836 года мне исполнилось 17 лет. В это время во мне начало пробуждаться чувство приличия в отношении к одежде, тем более что наше казенное платье было очень непрочно и неизяшно. Выданный мне, при поступлении моем в бурсу, нанковый сюртук с брюками через полтора года так затерся, несмотря на мою бережливость, что мне совестно было в нем показаться, не говоря уже о церкви, в доме моего родственника, помянутого выше земляка Аверкиева, между тем как на некоторых из своих сверстников-бурсаков я видел даже суконные сюртуки. Имея в виду принадлежавший мне и хранившийся у моего опекуна и дяди Петра Ивановича небольшой капитал, я решился попросить у него немного денег для приобретения сколько-нибудь приличного платья. Об этом я написал ему 20-го марта и письмо послал с одним из земляков-товарищей, отправлявшихся на Пасху домой. Просьба моя была удовлетворена; но вот при сем какое получил я назидательное наставление от своего отца крестного в письме от 5-го апреля: «Любезнейший сын крестный Иван Михайлович! За приятное письмо Ваше от 20-го марта, в котором Вы приветствуете нас с высокотожественным праздником Христова Воскресения, приносим чувствительную благодарность и также Вас поздравляем. Желаем душевно, чтобы Вы, празднуя обновление христианского рода и природы, купно получили новые силы к преуспеянию на стези добродетели и мудрости. Сожалеем, что Вы сами не пожаловали в такое прекрасное время, тем более что сотоварищи Ваши многие пришли. Здесь, повидавшись, о всем бы лично переговорили и обсудили. Вы, между тем, пишете о присылке денег на одежду; мы согласно Вашему желанию при сем посылаем 15-ть рублей по нынешнему курсу, но притом располагаем и то, что многолько тратите денег. Конечно, нужна одежда, но Вы не забудьте, что сирота; не осудят умные, что не можете равняться с сынами

¹³ Поэма эта известна в переводах на русский язык трех переводчиков – М. Попова, А.С. Шишкова и С. Москательникова. См.: Роспись книг библиотеки Смирдина. № 6736–38. В моих руках был, вероятно, перевод последнего.

богачей. Старайтесь украшать себя скромностью, отличаться простотою и благоразумным с другими обращением. Золотая утварь безобразного не сделает красавцем. Старая поговорка: береги денежку на черный день. У Вас хотя и есть деньги, но что это за богатство?.. Извини, что так строго пишем; это от любви и сожаления о тебе...

Скажем о себе, что мы доколе благополучны, чего и Вам усердно желаем... Да Господа ради берегитесь от хмельных напитков. Они губят нас на будущую жизнь; берегитесь худых товарищей, ведая, что беседы злые губят обычаи благие. Поручая Вас водительству и покровительству Божию с отеческою любовью, остаюсь искренно любящий отец крестный диакон Петр Иванов».

Письмо писано рукою отца Сапоровского, но подписано собственноручно дядею Петром Ивановичем. Это первое полученное мною в жизни письмо произвело на меня сильное и неприятное впечатление...

Получив 15-ть рублей по курсу, т. е. с каким-то, не помню, лажем, я поспешил купить материи на сюртук и брюки; выбрал на сюртук какую-то полушерстяную с зеленым отливом материя, а на брюки, помнится, серого цвета. Портной не замедлил сделать мне платье; оно вышло довольно красивое, но – увы! – недолго пришлось мне любоваться его красотой. Прошло не более недели или двух, как мой блестящий сюртук, частью от дождя, а частью от ярких солнечных лучей, совершенно почти полинял, и я опять остался без платья.

В мае те же рекреации и то же церковное торжество по случаю сретения иконы Боголюбской Божией Матери. Во второй половине июня и в первой июля – частные экзамены, около 15-го числа торжественный акт с теми же атрибутами, как и в прошедшем году. На этом акте я получил в дар другой экземпляр тех же пиитических правил *Байбакова*. На другой день нам объявлены разрядные списки: я переведен в числе первых учеников в среднее отделение. Затем отпуск по домам.

В первых числах сентября я был уже во Владимире и готовился слушать уроки по философии, математике, физике и проч.

В среднем отделении нашей семинарии было так же, как и в низшем, три параллельных класса. Мы из 2-го класса низшего отделения в полном составе перешли во 2-й класс среднего отделения.

Преподаватели у нас были: по философии Максим Терентьевич Лебедев, по математике и физике – Михайла Михайлович Соловьев, по французскому языку – Михайла Якимыч Смирнов.

М. Т. Лебедев окончил в 1825 году курс в Петербургской духовной академии под № 8 в первом разряде, но вышел из академии со званием старшего кандидата с правом, однако же, на получение степени магистра по выслуге двух лет. Надобно, впрочем, заметить, что и все прочие перворазрядные воспитанники этого курса, в том числе и Новгородский митрополит Исидор († 1892 год), оставили академию с такими же правами. Какая была этому причина, мне не случилось ни от кого слышать.

Профессор Лебедев слыл у нас серьезным мыслителем, но, к сожалению, не обладал свободным даром слова; притом голос имел тихий и выговор несколько гугнивый, так что на самом близком расстоянии с трудом можно было его слышать. Поэтому его преподавание не приносило для нас большой пользы, тем более что он не всегда своевременно приходил в класс и был к ученикам излишне снисходителен.

Официальным учебником по предмету философии у нас продолжала еще быть система *Баумейстера*, но на практике она стала уже выходить из употребления. Еще в 1834 году преосвященный Парфений спрашивал Новгородского владыку Серафима: «Что проекты на про-

екты Устава для духовных училищ?.. А дряхлого Баумейстера не сменяют вышеопытные? А сухой Бургий не на пенсии?» и проч ...¹⁴

Нам профессор давал для изучения составленные им самим, вероятно по руководству академических лекций, записки на латинском языке. У меня сохранились эти записки, тщательно мною переписанные.

Сверх сего, у меня сохранились записки по истории философии, на русском языке. Кем они были составлены, нашим ли профессором или другим кем-нибудь, не помню.

Для домашнего чтения ученикам обязаны были в наше время главные наставники брать из фундаментальной семинарской библиотеки книги под свою ответственность в случае их утраты. Наш почтенный профессор Максим Терентьевич был семейный человек и жалованья в год получал не более 600 рублей ассигнациями (171 рубля 43 копейки серебром); поэтому он остерегался брать из библиотеки ценные книги а старался выбирать, какие подешевле и постарее. Мне, например, досталась из его рук маленькая по формату книжка едва ли не 17-го столетия на латинском диалекте под заглавием «Ius canonicum». Так как эта книга показалась мне не очень интересною, то я положил ее в ящик и крепко там запер, чтобы она не утратилась, а через год или два возвратил ее по принадлежности в целости и сохранности. О собственных же ученических библиотеках в наше время не было и помину. После классных уроков, которые для способных учеников не были обременительны, главное занятие наше составляли собственные сочинения. На эти письменные труды всего более обращало внимание и начальство. Темы для сочинений давал нам только главный профессор. Темы эти были как русские, так и латинские.

¹⁴ Владимирские епархиальные ведомости. 1878. № 21. С. 624.

1837 год

Начало 1837 года ничем особенным для меня не было ознаменовано.

Приближалась Пасха. Любовь к родине влекла меня в родные Горицы, но я не решился на путешествие, не имея под руками средств для проезда. На этот раз я ограничился только выражением своего желания побывать на родине в письме к своему дяде Петру Ивановичу. В этом же письме я просил своего благопопечительного опекуна прислать мне рублей пять на нужды мои. И вот какой ответ от 25-го апреля получен был мною на это письмо:

«Христос Воскресе! Любезнейший сын крестный, Иван Михайлович!

За приятное и почтенное письмо твое приношу чувствительнейшую благодарность, а равно и за приветствие с высокаторжественным праздником... Деньги пять рублей высылаю и прошу поберечь оные и по-пустому не тратить, а по получении уведошь хоть по почте. Деньги посылаются с Алексеем Соловьевым. Пустынские родные твои здоровы и свидетельствуют почитание. Также и наше семейство: Татьяна Ивановна, Пелагея Петровна и Елизавета кланяются; засим с отеческою любовью остаюсь крестный твой отец села Гориц диакон Петр Иванов кланяюсь...»

Письмо это, как и прошлогоднее, писано было рукою о. Василия Сапоровского, но с собственноручною подписью Петра Ивановича.

Время от Пасхи до каникул прошло обычным порядком. Вакацию проводил я на родине в обычных странствованиях с одного места на другое. Единственное удовольствие составляло для меня в это время чтение и перечитывание выписок из разных книг, мною прочитанных в школе, и изредка собеседование с почтенным отцом Василием Сапоровским, который питал ко мне особенную любовь, как к любознательному юноше, и когда я прощался с ним, при возвращении во Владимир, он обязал меня писать к нему о владимирских новостях. Я с удовольствием, разумеется, принял на себя это приятное обязательство и не замедлил приступить к его исполнению.

1838 год

Скажу здесь несколько слов о моих занятиях частными уроками в дворянском доме. Еще в октябре 1837 года я рекомендован был для преподавания уроков детям шуйского помещика Семена Аркадьевича Лазарева-Станищева, проживавшего с семейством во Владимире и занимавшего какую-то должность по учреждению Приказа Общественного призрения. Я преподавал трем дочерям его Закон Божий, русскую грамматику, арифметику, географию и русскую гражданскую историю. В вознаграждение за эти труды назначено мне было по 10 рублей ассигнациями в месяц. К сожалению, эти уроки продолжались не более 6 месяцев: семейство Станищевых на лето уехало в деревню, в 8 верстах от Шуи, и более уже во Владимир не возвращалось. Получив за 6 месяцев 60 рублей, я сделал для себя на эти деньги суконную пару – сюртук и брюки и был очень счастлив. Но кроме материальной выгоды, я получил от своих занятий и некоторую духовную пользу: повторил, с большим уже пониманием, те предметы, которые я изучал почти механически в училище, и сверх сего имел повод прочесть почти всю историю Карамзина. Итак, справедливо древнее римское изречение: *docendo discimus*.

Когда я был в среднем отделении семинарии, во мне возбудилось сильное желание получить высшее академическое образование. Вследствие сего я предварительно начал запасаться академическими записками по философии и богословию. По философии у меня списаны были записки, частью на латинском, частью на русском языке, знаменитого в то время профессора философии в Московской духовной академии *Ф. А. Голубинского*, содержащие в себе умозрительную и опытную Психологию. По предмету Богословия у меня сохранились от того времени лекции еще более знаменитого ректора Киевской духовной академии архимандрита *Иннокентия (Борисова)* «О Религии естественной и откровенной».

В половине июля 1838 года, после частных испытаний и публичного экзамена, на котором я награжден был, по обыкновению, книгою, нас перевели из среднего отделения в высшее.

Когда я пришел на каникулы в Горицы, меня приняли там уже с большим вниманием, нежели прежде; сама тетка Татьяна Ивановна изменила свой прежний суровый тон обращения со мною на более ласковый и приветливый. А отец Василий Сапоровский каждый раз, когда я посещал его, принимал меня с самым искренним радушием и любил беседовать со мною об ученых и литературных новостях.

По возвращении с каникул мы с обновленными силами предались изучению богословских предметов.

В высшем отделении, так же как и в среднем, темы для сочинений давал нам преподаватель главного предмета, то есть отец Дионисий. Сочинения писались на русском и латинском языках.

Кроме так называемых рассуждений, мы обязаны были писать, особенно на втором году курса, поучения и проповеди. Нам не была преподаваема Гомилетика; мы не знали никаких теоретических правил для составления проповедей; от нас требовали только предварительного расположения или плана проповеди. Поэтому можно сказать, что мы самоучкой писали проповеди. Написанные нами и одобренные наставником проповеди ректор посылал нас произносить в той или другой из градских церквей.

У меня сохранилось 8 семинарских проповедей, из коих одна написана и произнесена была в 1839 году, а прочие в 1840 году.

В свободное от обязательных классных занятий время немало прочитано было мною книг и статей в духовных и светских журналах.

1839 год

По переходе в высшее отделение лучших учеников, обыкновенно после Пасхи, посвящали в стихарь для произношения проповедей в приходских церквях во время пребывания во Владимире чудотворной иконы Боголюбской Божией Матери с 21-го мая по 16-е июня. Я не помню, в какой день посвящен я был в стихарь, но хорошо помню, что первую проповедь мне пришлось произносить в Борисоглебской церкви в присутствии губернатора Ивана Эммануиловича Кугуты, так как это приходская церковь Владимирских губернаторов. Проповедь была из текста: *И прошедши вся двери, ста пред царем* (Есф. 5, 1). Мой первый опыт проповедничества был удачен: и содержание проповеди, и произношение ее было одобрено губернатором. Он это лично выразил мне после обедни. Кугута – грек, сын известного совоспитанника великого князя Константина Павловича.

Отправившись домой на вакацию, я большую часть времени провел у старшей сестры в Иваново и достаточно ознакомился с этим знаменитым центром мануфактурной промышленности. К сожалению, незадолго до наших каникул, а именно 13-го мая, Иваново опустошено было страшным пожаром, истребившим до 416 домов с фабрикою; убыток, причиненный этим пожаром, простирался свыше миллиона рублей серебром.

В последних числах августа поспешил я, конечно, возвратиться во Владимир к своим любимым занятиям науками.

1840 год

Предполагая отправиться на Рождественские праздники на родину и желая показать там пред родными и горицкими прихожанами свое ораторское искусство, я заблаговременно приготовил проповедь на новый (1840-й) год и представил на рассмотрение отца Дионисия. Тот одобрил ее к произнесению. При сем имел я в виду пример своего двоюродного брата Ивана Петровича, который, бывши в богословском классе, пришел раз домой также с проповедью на день Казанской Божией Матери (8-го июля). Но между тем как его проповедь еще в доме, как я помню, выслушана была с умилением его родителями, а в церкви она привела в восторг его нежную матушку, моя проповедь не имела такого успеха, и даже мне не очень охотно дозволили произнести ее. Такова сила пристрастия и зависти!..

Так начался для меня новый, последний год моего школьного образования и воспитания.

По возвращении с родины я продолжал заниматься науками обычным порядком. Но, исполняя свои школьные обязанности, я не отказывался облегчать труды и других. В таких отношениях я был к сыну Муромского игумена Варлаама († 1844 года), ученику среднего отделения Илье Вигилянскому, немощному телом и некрепкому духом. В свою очередь, и он не оставался пред мною в долгу: за духовную помощь он воздал мне вещественною мздой.

Страстную и Светлую недели провел я во Владимире. Затем незаметно прошла для нас последняя, правду сказать, нелегкая треть; нужно было к окончательным испытаниям повторить все, что было пройдено в течение двух лет.

Наконец настал день торжественного акта. На нем присутствовали и преосвященный архиепископ Парфений, и почтенный губернатор Кугута-грек и прочая владимирская знать.

Мне же суждено было заключить торжественный акт благодарственною речью.

В награду за это я получил из рук архипастыря большую-пребольшую книгу, в 4-ю долю листа, под заглавием: «Историческое, догматическое и таинственное изъяснение на литургию» *Дмитревского* (М., 1816).

Пред окончанием курса требовались, по распоряжению начальства, из Владимирской семинарии на казенный счет четыре воспитанника в Московскую духовную академию. Но как у нас было три богословских отделения, то семинарское начальство распорядилось избрать из каждого отделения по два лучших воспитанника и подвергнуть их особому испытанию. В числе избранных оказался и я. Но, по несчастью, к назначенному для испытания дню я не мог явиться в семинарское правление по причине сильной боли в горле, так что я не мог вовсе говорить. После, когда болезнь моя миновала, отец ректор Поликарп предлагал мне держать особый экзамен, но я, видя в своей болезни как бы особое указание Промысла Божия, отказался от предложения. Товарищ мой по классу Михаил Граменицкий отрекся вовсе от поступления в академию. Таким образом, в академию назначены следующие студенты: Василий Русинов, Сергей Красовский, Флавий Скабовский и Василий Гурьев. Но из них ни один не вышел из академии со степенью магистра.

Какая же, спрашивается, дальнейшая судьба ожидала нас с Граменицким? Нам обоим обещали на первый раз предоставить лекторские должности по французскому и немецкому языкам при семинарии, с жалованьем по 120 рублей ассигнациями в год. Мы с благодарностью, конечно, приняли это милостивое обещание.

На другой или на третий день после публичного экзамена нам выдали из семинарского правления аттестаты об успехах и поведении. В моем аттестате означены были по всем предметам самые лестные отзывы. Получив такой аттестат, я был в неописанном восторге.

Затем я отправился на родину, разумеется пешком. Мы шли вдвоем с товарищем Гавриилой Добровольским. За Суздалем нас настигла архиерейская карета, в которой ехал преосвященный Парфений с архимандритом Иеронимом (о котором впоследствии будет речь) по

направлению к Шуе. Поравнявшись с нами, карета остановилась, и мы должны были к ней подойти. Владыка, чрез отверстие окна кареты, благословил нас и, спросивши наши фамилии, благоволил дать нам – одному двугривенный, а другому пятиалтынный. Это нам, сиротам (Добровольский также сирота и жил со мною в бурсе), пригодилось на дорогу. На эти деньги мы могли провести целые сутки в дороге.

Последняя вакация после напряженных, утомительных трудов и после счастливого окончания шестилетнего семинарского учения прошла для меня весело и быстро, среди постоянных переселений с одного места на другое. По окончании каникул я, взявши у своего опекуна последние десять рублей, отправился во Владимир в приятной надежде на получение обещанной мне должности лектора французского языка. Но каково было мое разочарование, когда я, приехавши во Владимир, узнал, что лекторских должностей при семинарии более не существует, что они, по распоряжению высшего начальства, совсем упразднены.

Что же мне, горькому сироте с единственными десятью рублями в кармане, оставалось делать? Двери в бурсу для меня были уже закрыты, я должен был остановиться на наемной квартире, иметь свой стол и прочее содержание. До сих пор, пользуясь всегда казенным содержанием и имея в запасе небольшие собственные средства, я не испытывал ни в чем особенной нужды, а теперь – я должен был встретиться с нищетою лицом к лицу.

Ничего более не оставалось мне делать, как искать или частные уроки, или священническое место; но проходит неделя, и две, и три, а у меня ни уроков, ни места в виду не имеется. Правда, мне еще пред вакацией предлагали священническое место в селе Абакумове Покровского уезда, и даже показывали невесту, но мне почему-то не хотелось еще тогда выходить на место. Между тем этим местом и этой невестой поспешил воспользоваться мой товарищ и друг Граменицкий, счастливо избавившийся от знаменитой невесты, которую ему навязывали, – родной племянницы преосвященного Парфения.

Расскажу здесь, как это было. Пред окончанием нашего курса привезли к преосвященному из Москвы его родные свою дочь-невесту с надеждою пристроить ее во Владимирской епархии к какому-нибудь месту. Преосвященный обратился к семинарскому начальству с требованием избрать и указать для его племянницы из окончивших курс семинаристов достойного жениха. Выбор пал на Граменицкого. Его представили преосвященному, а тот велел показать его невесте. Но Граменицкий после первого свидания с невестою испуганный и расстроенный приходит в бурсу и обращается ко мне за советом, что ему делать и как избавиться от предстоящей беды. Невеста показалась ему слишком бойкою и резвою, а он – юноша тихий, скромный, застенчивый, одним словом, выходец из темных муромских лесов, сын беднейшего дьячка села Лыкина Муромского уезда. Я дал ему дружеский совет отказаться от невесты, если она ему не нравится, и убедил его идти к инспектору отцу Рафаилу и откровенно объясниться с ним. Он так и сделал.

Возвращаюсь к своему бедственному положению.

Скучая бездействием и не имея в виду ничего определенного, я решился было возвратиться назад в семинарию с тем, чтобы чрез год поступить в академию, и непременно Киевскую, куда влекли меня и тамошняя святыня, и благодатный южный климат. В воскресенье, 29-го сентября, сходил я к ранней обедне, а после поздней литургии решил идти к своему доброму и почтенному наставнику отцу Дионисию и объяснить ему свое намерение; между тем отправился на рынок купить что-то для себя. Здесь неожиданно встретился со мною мой бывший по Шуйскому училищу питомец, ученик среднего отделения Семен Вишняков – сын нашего благочинного. Обрадовавшись этой встрече, Вишняков с живостию говорит мне: «Иван Михайлович! На днях был у меня батюшка и говорил мне, что он рекомендовал вас на уроки в дом помещика Каблукова; вас ищут там – спешите». С восторгом принял я эту нечаянную весть и, забывши об академии, на другой же день, часа в четыре утра, пустился, разумеется пешком, в стоверстный путь. Без усталости прошел верст шестьдесят и остановился на ночлег в

селе Вознесенье Ковровского уезда у брата моего зятя – причетника. Немало здесь удивились моему неожиданному приходу; спрашивают, куда и зачем я иду. Когда я объяснил цель моего стремления, мне говорят: «Да, кажется, учительское место в доме Каблукова уже занято; туда недавно отправился ваш товарищ, Авим Михайлович Доброхотов, живший также на уроках у помещицы в соседней с селом Вознесеньем деревне». Словами этими как холодной водой меня обдали. Но я не хотел этому верить и отправился в указанную деревню, чтобы удостовериться в справедливости сказанного мне. Оказалось, к моему прискорбию, что Доброхотов, товарищ мой, тут действительно жил и ушел, но куда, неизвестно. Я продолжал свой путь и, пришедши в село Якиманское, в приходе коего живет помещик Каблуков, узнал от причетника, что действительно меня искали, нарочно посылали за мною в Горицы; но, нигде не отыскавши меня, рассудили пригласить моего товарища Доброхотова. Я отправился в деревню, чтобы повидаться, по крайней мере, с своим товарищем и объяснить с помещиком. Доброхотов при свидании со мною жаловался на излишнюю притязательность со стороны барина и на леность своего ученика – избалованного барчонка. Помещик, которому о мне доложили, принял меня ласково и выразил крайнее сожаление, что не могли меня отыскать.

Возвратившись к Якиманскому причетнику, оказавшемуся моим товарищем по Шуйскому училищу, я приглашен был им на ночлег, так как это было вечером. Тут я начал рассуждать, что мне остается делать: идти к родным совестно, да и неблагонадежно; в Горицах не будут рады, а в Иванове родные сами не изобилуют средствами к жизни. К счастью, я вспомнил, что где-то недалеко от Шуи живет помещик Лазарев-Станищев, у которого я назад тому года два учил во Владимире детей. Оказалось, что деревня Иваново, принадлежащая этому помещику, находится от села Якиманского верстах в 10–12-ти. На другой день, вставши утром, я поспешил отправиться в Иваново как бы в обетованную землю; путь свой я держал не по большой дороге, где пришлось бы сделать несколько лишних верст, а прямо, по полям и лугам, и едва не прошел мимо вожделенной цели; но, оглянувшись нечаянно, увидел новый барский дом и, подошедши к нему, узнал, что это именно дом помещика Лазарева-Станищева. Вошедши в людскую избу, наскоро переоделся, нарядившись в ту самую суконную пару, которую я сделал на деньги, заработанные уроками у этого же барина. Когда доложили о мне барину, он с радостью принял меня как близкого родного; чрезвычайно обрадовались мне и дети его. Когда в беседе речь зашла о том, кто учит детей, оказалось, что учит диакон соседнего села Дроздова, мой сверстник по училищу, исключенный из высшего отделения Шуйского училища. Его учительством были очень недовольны, но заменить его было некем. Когда я предложил барину свои услуги, он с изумлением спросил меня: «Неужели возможно?» – «За тем я пришел к Вам», – был мой ответ. Семейная при сем радость была неописанна. Итак, решено, что я остаюсь в доме моих старых знакомых в качестве домашнего учителя. На меня возложена обязанность учить разным наукам четверых детей – трех девочек и одного мальчика; уроки должны продолжаться по четыре часа до обеда и по два после обеда. Жалованья назначено мне по 10-ти рублей ассигнациями (около 3-х рублей 15-ти копеек серебром) в месяц.

Таким образом, с первых чисел октября 1840 года началась для меня новая жизнь. Мне назначили в мезонине особую чистенькую комнатку с двумя окнами, обращенными к березовой роще. Семейство помещика состояло из шести душ детей, но жены в живых уже не было; он был вдов. У него была порядочная библиотека, всегда открытая для меня. В ней, между прочим, была и История *Карамзина*, необходимая для меня при преподавании Русской истории...

Верстах в двух от деревни была приходская церковь в селе Китове. Мы каждое воскресенье и каждый праздник ездили туда к обедне, и барин читал Апостол, а я говорил поучения, большую часть по печатной книге, а иногда сочинял и свои. После обедни почти всегда заходили на пирог в дом тамошней помещицы Жуковой – родной племянницы Лазарева-Станищева; а к обеду, или на вечер, она приезжала в Иваново с мужем, отставным капитаном.

Материальные средства моего барина были очень ограничены, и он вел жизнь очень простую, без всякой роскоши, а это мне и нравилось. В среде такого небогатого семейства я чувствовал себя совершенно свободно, и ко мне относились как к близкому, родному.

Но как ни спокойно мне было в этом добром семействе, а я все-таки был озабочен мыслью о дальнейшем более прочном устройстве своей судьбы. Поэтому я писал во Владимир к одному из своих товарищей, Гавриилу Добровольскому, который поместился на время в архиерейском Рождественском монастыре в качестве послушника, и просил его извещать меня о праздных священнических местах.

Рождественские праздники мирно провел я в деревне. Там же встретил и новый, 1841 год.

1841 год

В июле 1841 года я определен был на должность смотрителя семинарской больницы. Обязанности мои состояли в наблюдении за порядком в больнице, преимущественно в хозяйственном отношении; мне ежемесячно выдавалась экономом семинарии на расходы небольшая сумма, в которой я должен был давать ему отчет. Но мои отчеты не всегда заслуживали одобрение эконома, моего родича. Однажды я представил ему счет издержанных мною денег по случаю погребения умершего ученика. В этом счете значилось в расходе 4 рубля с копейками ассигнациями. Взглянувши в этот счет, он сильно выбранил меня, сказав: «Разве можно представлять такие счета?» – «А какие же?» – возразил я ему. – «Да тут нужно было записать в расход по крайней мере 15-ть рублей». – «Предоставляю уже это Вам», – был мой ответ. Из этого я понял, что значит быть экономом семинарии.

По должности смотрителя больницы – сколько бы, вы думали, получал я жалованья? Два рубля серебром в месяц. Правда, при этом я имел, кроме квартиры, казенный стол.

Но Ф. Г. Беляев, сверх должности смотрителя, передал мне свои уроки, которые он имел в разных домах и которые мне доставляли более тридцати рублей ассигнациями (около 10-ти рублей серебром) в месяц.

Уроки я имел у врача семинарской же больницы Митрофана Ивановича Аляркинского и в двух домах дворянских, коих фамилии не помню. Помню только, что в одном доме заставили меня преподавать мальчику, между прочим, немецкий язык, которого я вовсе не знал. Но неведением иностранного языка так же, как неведением закона, я не мог оправдываться. Делать нечего, начал с ребенком сам изучать с азов немецкий язык, по известному изречению: *docendo discimus*.

5-го августа Беляев извещал меня коротенькой запиской, что он отправляется в Петербург со студентом саратовской семинарии (Л. Я. Снежницким) и поручал мне переслать в Муром к брату своему (Ивану Гаврилычу, учителю духовного училища) Библию, Баумейстера и калоши.

А 31-го того же месяца писал мне о. Граменицкий в ответ на мое письмо:

«В первых числах сего августа получил от пришедших к обедне письмо Ваше. Чувствительно благодарю за уведомление. Очень приятно, очень весело читать Ваше извещение. Радуюсь, что Вы приобрели для себя хотя не вечное прибежище – местечко в больнице, радуюсь также, что еще имеете побочные пособия к своему содержанию. Еще желал бы знать короче о Вашем положении, и Вы это обещали мне сообщить чрез подателя Вашего письма Феодора Гавриловича; но он, верно, из списка друзей меня хочет исключить, проехал Липней без оглядки, а как бы, по мне, не заехать к бывалому знакомцу? Бог с ним! Разумеется, ему так, как предназначенному быть жителем большой столицы, с нашим братом знакомиться низко.

Я, друг, лето проводил в работе, отчасти позапасся хлебом; теперь хлопочу о пиве; в первых числах сентября буду заваривать; не подумайте, что наше пиво походит на сумасбродную, бесполезную брагу; нет, оно немногим уступит в действии горилке. Это я испытал на себе в прошедшую осень. Делать нечего, у нас в деревне не город, не увидишь скачущих по большой дороге дворян или других франтиков, скучно, испьешь пивца, и повеселее, поедут в воображении на тройках и двойках. Слава Богу, я познакомился с живущими у нас в приходе господами, а чрез них и с другими: чуть соскучилось – можно найти развлечение в доме любого.

Наш диакон в предпоследних числах вакансии бывал у Вас в больнице, желал Вам сообщить весть обо мне и от Вас доставить мне, но Вы покоились в объятиях Морфея, он Вас потревожить не осмелился. Прошу Вас, любезнейший друг, сообщать мне новости, имеющие случиться во Владимире, не поставьте для себя в труд, чем много обяжете любящего Вас друга – Граменицкого».

Около половины октября умер в Муроме соборный священник Василий Васильевич Царевский, оставив беременную жену и 9 человек детей. Я не знал об этом, но приходит ко мне товарищ Н. К. Смирнов и спрашивает меня, буду ли я проситься на это место. Имея в виду, с одной стороны, мысль о поступлении в академию, а с другой, рассуждая, что соборное священническое место едва ли может быть предоставлено молодому студенту, только лишь окончившему курс семинарии, я дал отрицательный ответ. Ему только это и нужно было знать. Несмотря на то что он гораздо ниже меня стоял в списке, он не убоился искать этого места и рассчитывал на успех, надеясь на протекцию своего отца крестного, Муромского городничего Козьмы Семеновича Макова. Но человек предполагает, а Бог располагает.

В последних числах октября неожиданно является ко мне в больницу учитель Владимирского духовного училища Алексей Михайлович Ушаков (кандидат V курса 1826 года Московской духовной академии) и говорит: «Иван Михайлович, я пришел к тебе сватом». – «Доброе дело, – отвечаю я, – но куда же хотите меня сватать?» – «В Муром, к собору, на место умершего священника Царевского». – «О нет! Я боюсь и проситься туда». – «Нет, пожалуйста, не отказывайся; повидайся, по крайней мере, с вдовой, которая приехала во Владимир и которой рекомендовали тебя как благонадежного жениха, а она поручила мне, как родственнику, пригласить тебя; она остановилась у Павла Абрамыча Прудентова (учителя семинарии, женатого на родной племяннице вдовы Царевской) и чрез день или два пришлет за тобой».

Действительно, вскоре присылают за мной и приглашают в квартиру П. А. Прудентова. Прихожу и вижу пред собой средних лет вдову, довольно красивую и с умным выражением лица. Имя ее Прасковья Степановна; с ней вместе приехала старшая сестра ее Надежда Степановна Аменицкая, теща Прудентова и также вдова. У них во Владимире был брат Павел Степанович Харизоменов – старший столоначальник Консистории. Сейчас же завели со мною речь о главном предмете, ради которого меня позвали. На сделанное мне предложение я отвечал уклончиво; меня стали упрашивать по крайней мере явиться с ними на другой день к преосвященному, который им дозволил искать к сироте достойного жениха; при этом вручили мне роспись приданого за невестой на двух или трех страницах. Ничего не понимая в этих делах, я отправился с росписью к о. ректору Поликарпу. Тот, поелику сам был семейным человеком, рассмотревши роспись, нашел ее недостаточною: в ней не значилось ни самовара, ни чайных принадлежностей; поэтому он велел, чтобы все это внесено было в роспись.

На другой день, часов в 8-м утра, собрались в передней архиерейской две сестры-вдовы – Царевская и Аменицкая, – брат их Харизоменов и я. Доложили о нас владыке; он не замедлил позвать всех нас в залу. Первый вопрос архипастыря обращен был ко мне:

– Ведь ты сирота?

– Сирота, владыко святой.

– Ты сирота, невеста сирота, собор бесприходный, а надо купить тебе дом: на какие средства будешь покупать?

Я обрадовался, что встретилось препятствие, и говорю владыке:

«Преосвященнейший владыко, я имею пока кусок хлеба, и потому не имею надобности спешить выходить на место».

Владыка начал рассматривать список окончивших курс семинарии и стал рассуждать сам с собою: Смирнов, за которого ходатайствует Маков, сын также небогатого отца (инспектора Суздальского духовного училища), и потому также не в состоянии приобрести дом, да к тому же он ниже Тихомирова в списке. Затем, как бы пробудившись от своего размышления, он обращается к столоначальнику Харизоменову с вопросом: «Да, кажется, в Муромском училище есть праздное учительское место?» – «Точно так, владыко святой; учитель первого класса отправился в Томскую епархию на священническое место». – «А сколько учителю 1-го класса жалованья?» – продолжает владыка. «Триста рублей (ассигнациями)». – «Ну, вот и хорошо... Ты, – обращается ко мне владыка, – будешь учителем и будешь получать за это по

300 рублей в год; из них 100 рублей отдавай сиротам. А ты, баба, – обращается к вдове Царевской, – отдай ему (т. е. мне) третью часть дома».

Я начал было опять уклоняться от муромского места, но преосвященный мне говорит: «Эту мысль (т. е. об учительстве) Сам Бог мне внушил; поди, послушайся меня, хорошо будет».

Не смея более пререкать архипастырской воле, я дерзнул попросить позволения предварительно посмотреть невесту.

«Ну что же ты, баба, – обратился он к моей будущей теще, – не привезла сюда девку-то; он здесь и посмотрел бы ее, а то шутка ли – ехать за сто двадцать верст?» Впрочем, мне дано было дозволение отправиться в Муром.

Но я, как приговоренный к смерти, вышел из архиерейских покоев и бросился к ректору просить защиты и ходатайства пред преосвященным об освобождении меня от муромского места. Но добрый отец ректор, выслушавши мой рассказ об обстоятельствах дела, дал мне совет отправиться в Муром и, если мне не понравится невеста, сказать ему; тогда он употребит все усилия к освобождению меня от нежеланного места и нелюбой невесты.

На другой или на третий день отправился я в Муром в сопровождении двух вдовиц. По приезде туда остановился в доме родного брата вдовы Царевской соборного же священника Василия Степановича Харизоменова. Смотрю в окно и вижу собор старинной архитектуры XVI столетия, стоит на высокой крутой горе над рекою Окой. Слава Богу, первое впечатление очень доброе. «Что, – думаю, – будет дальше?» Из другого окна вижу рядом дом моей невесты: новый, довольно красивый и просторный; и это произвело приятное на меня впечатление. Через час приглашают меня в дом невесты. Вхожу. В зале встречает меня вся семья – мать и 9-ть человек детей, шесть дочерей и три сына. Имя старшей дочери, моей невесты, Анна Васильевна. Тут же были и некоторые из ближайших родственников. У меня в Муроме не было никого знакомых, кроме стряпчего А. А. Горицкого; но он меня не знал, и мы с ним познакомились уже впоследствии. Таким образом, не с кем было мне посоветоваться. Я должен был сам решить свою судьбу. Прошло два дня, и я, ознакомившись несколько с невестой и семейством и предав себя и свою судьбу в волю Божию, решился сделать роковой шаг в жизни.



Муромское духовное училище

Возвратившись через несколько дней во Владимир, я подал прошение преосвященному об определении меня на должность учителя Муромского училища и о предоставлении мне праздного священнического места при муромском Богородицком соборе. По этому прошению последовал запрос семинарскому Правлению, могу ли я совместить учительскую должность со священнической. На этот запрос дан был ректором отцом Поликарпом от 18-го ноября следующий отзыв:

«Студент Иван Тихомиров по окончании семинарского курса определен был 12-го июля сего года смотрителем семинарской больницы, каковую должность проходил с отличною ревностию, при поведении примерно хорошем, исправляя иногда, по поручению Правления, должность наставника по классу греческого языка за болезнию которого-либо из гг. наставников оного. К наставнической должности он, Тихомиров, весьма способен, и к совмещению должности учительской при Муромских училищах, в случае потребности, с должностию священническою никакого препятствия не имеется».

Между тем я поспешил уведомить свою будущую тещу о благополучном возвращении во Владимир и об обстоятельствах моего дела.

1842 год

Накануне нового года теща моя, Прасковья Степановна, разрешилась от бремени сыном, которого назвала в память своего покойного мужа Василием. Таким образом, это ребенок имел одинаковую со мною судьбу; как бы потому впоследствии мне пришлось о нем заботиться больше, чем о прочих его братьях.

12-го января совершен был брак в соборной церкви. На свадьбе были мои родственники: отец Василий Сапоровский, дядя и отец крестный диакон Петр Иваныч, зять Василий Александрович Левашов, сестра Анна Михайловна и, кажется, молодой диакон Ивановской единоверческой церкви Ф. С. Виноградов, женатый на моей племяннице, дочери старшей сестры моей Марьи Михайловны. Брачный пир был самый скромный, одним словом, сиротский.

Через два или три дня после брака я отправился во Владимир для посвящения. 18-го числа рукоположен был преосвященным Парфением в диакона, а 25-го числа, в день святого Григория Богослова, сподобился принять благодать священства в домовый архиерейской церкви.

На расходы по производству в священника мне обещано было 30-ть рублей, но я получил только 25 рублей; впрочем, этих денег, при протекции родственника, консисторского столоначальника, было для меня достаточно. Он сам мне назначил, кому сколько дать; между прочим, секретарю Консистории велел отнести две бутылки рому, и тот благосклонно принял от меня это приношение. Квартиру и стол во все время пребывания моего во Владимире имел я у помянутого выше родственника моей тещи, священника П. А. Прудентова.

По рукоположении целую неделю служил я в большой крестовой церкви и затем, получив из рук моего незабвенного рукоположителя ставленную грамоту, отправился в Муром, к месту моего нового служения.

1-го февраля вечером приехал я в Муром и 2-го, в день праздника Сретения Господня, сподобился совершить соборно с настоятелем собора, протоиереем Михаилом Григорьевичем Тропольским, Божественную литургию.

Затем вступил я в должность учителя первого класса приходского училища.

Кроме совершения церковных служб, я не имел возможности часто заниматься проповеданием слова Божия как потому, что занят был училищною службой, так и потому, что в соборе обязаны были говорить поочередно проповеди все городские и окрестные сельские священники. Мне приходилось сказать в год не более двух или трех проповедей; разве, бывало, иногда поручит еще протоиерей как цензор проповедей написать проповедь за какого-нибудь сельского священника, который не может по каким-либо обстоятельствам явиться в город для произнесения поучения.



Епископ Владимирский Парфений (Васильев-Чертков)

Училищная служба требовала от меня ежедневных трудов. Пока я был учителем первого приходского класса, я должен был каждый день заниматься утром три часа и после обеда два. Мальчиков привозили в первый класс иногда без всякой почти подготовки, а их было от 30 до 40 человек. Я должен был с некоторыми начинать почти с азбуки; о чистописании уже говорить нечего. Когда, бывало, прихожу в класс и заставляю учеников писать, они один за другим подходят ко мне с перьями и с детскою наивностию говорят: «Дядюшка, очини мне перышко». И грех и смех. Но какое затем утешение видеть этих наивных детей природы постепенно развивающимися и успевающими в науках, видеть в их взорах оживленность и бодрость!

Независимо от училищных занятий, я имел несколько частных уроков. Это служило некоторым подспорьем к моим ограниченным средствам, доставляемым службою. Какое же, однако, получал я вознаграждение за эти труды? 20 копеек серебром за полуторачасовой урок!.. Раз только какой-то заезжий подполковник, пригласив меня заниматься с его сыном, назначил мне за урок по 75 копеек; но когда узнал, что другие платят гораздо меньше, предложил мне 50 копеек. Я, разумеется, охотно согласился и на эту цену. Но эти уроки, не помню, почему-то скоро прекратились.

Все свободное от служебных занятий время, хотя его было очень немного, я посвящал чтению книг. При соборе была очень порядочная библиотека, состоявшая преимущественно из святоотеческих творений в славянском переводе. Из нее я прочитал беседы Златоуста о покаянии; нашел, впрочем, в ней первое издание проповедей знаменитого проповедника Филарета 1820 года, когда он был еще архиепископом Ярославским. Эта книга почти не выходила из моих рук. С 1843 года начали издавать при Московской духовной академии журнал «Творения святых Отцов в русском переводе». Напечатаны были, как известно, прежде всего Творения святого Григория Богослова; их я прочитал от начала до конца. Одна духовная дочь моя, именно супруга городничего, преемника Макова, М. М. Пасенко, привезла мне из Москвы в дар три тома сочинений известного витии архиепископа Иннокентия, изданные в 1843 году Погодиным. Эти ораторские произведения были изучены мною почти наизусть. Со светскою литературой я меньше имел возможности знакомиться. Помню только, что я, познакомившись со штатным смотрителем Муромского уездного училища, Ф. Я. Яковлевым, брал у него из училищной библиотеки «Описание отечественной войны 1812 года и следующих годов» Михайловского-Данилевского и с увлечением читал оное, сделавши из него несколько листов выписок, которые и доселе целы у меня. Я не читал газет, но меня убедил читать их учитель уездного

училища Иван Тихонович Остроумов, выпущенный из Петербургской духовной академии в 1831 году за какие-то непристойные выходки со званием студента, хотя по своим дарованиям он мог быть в числе первых магистров. Отец протоиерей Троепольский, любя сам читать медицинские книги, дал мне из своей библиотеки и рекомендовал прочитать сочинение *Гуффеланда*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.